А. Грин

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ
РАССКАЗЫ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1980

ББК 84.3Р7
Г 85

Предисловие
Н. ГУБКО

Художник
Ю. СМИРНОВ

Г $\frac{70302\text{-}073}{028\ (01)\text{-}80}$ без объявлен. 4702010200

«...Я НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛ ИСКУССТВУ»

Когда в книгах Александра Грина мы встречаемся с такими экзотическими названиями городов («мои города» — называл их сам писатель), как Зурбаган, Лисс, Гель-Гью, Гертон, или с непривычными для русского слуха именами его героев и героинь Ассоль, Дези, Гарвей, Биче Сениэль, Фрези Грант и т. д., то кажется, что написал их человек, исколесивший моря и океаны, терпевший кораблекрушения, совершавший необыкновенные подвиги, встречавшийся с необыкновенными, сильными, мужественными людьми.

Так красочен и многоцветен мир, созданный писателем в наиболее популярных его книгах. Мы переносимся в далекие, неизвестные страны, в мир необыкновенных поступков, возвышенной мечты. Мы верим художнику: вместе с поэтичной Ассоль радуемся ее встрече с возлюбленным, приехавшим за ней на корабле под алыми парусами («Алые паруса»); верим, что Томас Гарвей нашел счастье с очаровательной Дези, простой девушкой с рыбачьего судна, в которой наконец воплотились его романтические грезы о легендарной Фрези Грант, «бегущей по волнам» и спасающей от одиночества и отчаяния людей, оказавшихся в беде на море («Бегущая по волнам»). Мы путешествуем сто верст по реке с Ноком и Гелли, преодолевая опасности, ускользая от преследований, и преклоняемся перед глубиной и силой их любви,— «они жили долго и умерли в один день» («Сто верст по реке»). Но даже в самых романтических своих произведениях Грин стремился к диалектическому постижению жизни.

Не всегда ярок и радостен мир, создаваемый писателем. Жестоко и бессмысленно убивают Друда, необыкновенного че-

ловека, обладающего способностью летать, как летают птицы («Блистающий мир»); издевательствам и побоям подвергается за свою любовь Гоан («Позорный столб»); а в солнечных, сказочных портах и гаванях Гель-Гью, Зурбагана, Лисса тоже часто мучаются и страдают люди,— не только любят, но и ненавидят; там тоже существуют неправые суды, жадность и корыстолюбие.

И хотя Александр Грин больше известен читателям, особенно юным, как автор романтических произведений, где Добро и Красота обязательно вознаграждаются, у него много произведений совсем другого тона и плана — реалистических рассказов, новелл и очерков, правда, часто с присущей Грину романтической окраской.

И как итог художественных исканий Грина в этом направлении — «Автобиографическая повесть», написанная незадолго до смерти, по самому своему характеру близкая к произведениям А. М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». Это проницательно заметили многие исследователи творчества Грина.

И нравственно-психологический облик писателя тоже далек от представлений об экзотических странах и суровых, мужественных капитанах, покорителях стихий и женских сердец.

...Однако жизнь Грина действительно была необычной, полной всяческих превратностей и крутых поворотов. Это и давало повод еще при жизни писателя слагать о нем всякого рода легенды и небылицы; главная из них была та, что он убил какого-то английского капитана, похитил сундук с рукописями и издавал их под своим именем.

Недаром свою «Автобиографическую повесть» писатель первоначально хотел назвать «Легендой о Грине».

Кто же был на самом деле этот «загадочный» человек и писатель, аналога которому трудно найти в русской литературе?

Сын мелкого чиновника, ссыльного поляка, Александр Степанович Гриневский (Александр Грин — его псевдоним) родился в 1880 году в небольшом уездном городке Слободском Вятской губернии. Он рано потерял мать, испытав горькую участь сиротства, бедности, одиночества и непонимания.

И хотя, как справедливо замечает исследователь творчества Грина В. Сандлер, «Автобиографическую повесть» нельзя назвать точным и безусловным документом — на то она и «по-

весть», – исторические и психологические черты времени, сама атмосфера жизни Вятки, куда впоследствии переселилась семья, быт семьи, окружения переданы здесь достаточно правдоподобно.

Из-за строптивого характера, вообще особенностей натуры, Грин не мог ужиться с наставниками и сверстниками в школе. Впоследствии он вспомнит: «...меня сверстники не любили, друзей у меня не было». От одиночества и обид он уже с детства уходил в мир вымысла и фантазии, грезил о далеких странах, морских путешествиях, необыкновенных подвигах. Читал запоем Жюля Верна, Майн Рида, Эдгара По. Позже полюбил Гюго, Диккенса, особенно Чехова. А когда весной 1895 года он увидел штурманских учеников в белой матросской форме, то «остановился, смотрел как зачарованный на гостей из таинственного, прекрасного мира» («Автобиографическая повесть»).

Но реальная жизнь готовила другое: с шестнадцати лет он скитался по России, испытал голод, болезни, разочарования в любви.

В поисках заработка он был плотником, лесорубом, золотоискателем на Урале, актером «на выходах», переписчиком ролей и даже банщиком. Трудно даже перебрать все профессии, которыми занимался Грин. Матросом же он проплавал совсем немного, а в заграничном порту был всего один раз. Рухнула мечта стать моряком. Сам Грин впоследствии не без юмора вспомнит о своем «морском опыте» в 1896 году: «...с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие» («Автобиографическая повесть»).

Сразу в матросы его, конечно, не взяли, и он оказался в разноязычном и разноплеменном порту, голодный, без пристанища, среди всякого сброда, которым была полна тогдашняя Одесса.

А затем и начались скитания по России. Он побывал в Баку, Севастополе, Феодосии, в Астрахани и многих других местах. За побег из военного батальона, где был в качестве солдата, Грин сидел в тюрьме в Тамбове, за революционные убеждения попал в ссылку сначала в город Туринск Тобольской губернии, потом в глухие места Архангельской губернии. Умудрялся жить с фальшивыми паспортами,— в частности,

выданным на имя некоего М. Н. Мальгинова, «личного почетного гражданина». Это только самые основные вехи его жизненного пути до Октябрьской революции.

В 1920 году Грин обосновался в Петрограде, некоторое время жил в знаменитом Доме искусств, где стараниями А. М. Горького в трудные годы разрухи было устроено нечто вроде писательского общежития.

Все, кто встречался с ним, жил рядом или дружил в этот период, единодушно отмечали его «необычность». Но не в том романтическом, красочном смысле, в каком его рисовали легенды. Необычность была в житейском поведении, в манере себя держать, говорить... Все сходятся в определении основной черты его внешности и характера.

Всеволод Рождественский пишет в своих воспоминаниях, что Грин «жил отшельником, нелюдимым, редко появлялся на общих сборищах. Этим он как будто стремился отгородиться от непрошеного вмешательства в его внутренний мир».

О сумрачном взгляде «очень серьезных, неулыбавшихся глаз» Грина пишет Михаил Слонимский.

«Суровое лицо, угрюмый взгляд»,— свидетельствует Лев Гумилевский.

Жена и верный друг писателя Нина Николаевна Грин признается: «Грин редко смеялся».

Сам Грин в рассказе «Крысолов», написанном в пору жизни в Доме искусств, говорит о себе, что он «пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал».

Перед нами совсем другой Грин, противоположный тому образу, который вырисовывался в его романтических произведениях. Не бесстрашный «морской волк», а человек и писатель тяжелой и сложной судьбы, вышедший из самой гущи народной жизни. Его облик в ту пору говорил о трудно прожитой жизни и постоянной творческой сосредоточенности.

Но в чем же все-таки своеобразие Грина-писателя и ценность его творческого опыта для нашей литературы?

Литературное наследие Грина чрезвычайно многообразно: он писал романы и повести, стихи и фельетоны, рассказы и очерки... Не все равноценно. Есть вещи подражательные, есть поверхностные и скороспелые — ведь он нередко писал только для заработка. Но лучшие его творения — немалый и ценный вклад в нашу литературу.

До революции его мало ценили, считая второстепенным писателем. Произведения Грина отвергали «толстые журналы», и он вынужден был печататься в малоизвестных изданиях. Для многих — даже для такого тонкого ценителя искусства, как Брюсов,— Александр Грин был слишком «экзотичен». Он всегда стоял в стороне от различных течений и литературных школ, упорно отстаивая свою творческую индивидуальность.

«Чужд я им, странен и непривычен»,— писал он В. С. Миролюбову, редактору «Нового журнала для всех» в 1914 году.

А много позже, в 1926 году, в письме к Мих. Слонимскому Грин своеобразно подтвердит неуклонность своего индивидуального пути в литературе: «Став капитаном, не сбивайтесь с пути и не слушайте никого, кроме себя».

Долгое время Грина считали писателем, далеким от традиций русской литературы, целиком подчиняющимся иностранным литературным образцам. Особенно подчеркивалась его зависимость от Эдгара По. Совсем отрицать влияние Эдгара По на Грина, особенно раннего, было бы неверно,— до конца жизни он оставался одним из любимых писателей Грина. Но в лучших и зрелых своих вещах Грин вполне самостоятелен и неповторим.

Впрочем, послушаем самого Грина.

Как-то при встрече писатель Юрий Домбровский сказал Грину, что некоторые его рассказы напоминают новеллы Эдгара По. Грин, по словам Домбровского, «слегка вышел из себя и даже повысил голос.

«Господи,— сказал он горестно,— и что это за манера у молодых все со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом вы правы, но Эдгар тут совсем ни при чем».

О том же пишет и Нина Николаевна Грин. «Я не Эдгар По,— говорил писатель.— Я — Грин, у меня свое лицо».

В этом смысле характерна также реакция Грина на суждение Юрия Олеши о превосходной теме для фантастического романа в «Блистающем мире», написанном Грином в 1923 году. Юрий Олеша вспоминает: «Как это для фантастического романа? — спросил Грин.— Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!»

Любопытно, что еще до революции рецензент журнала «Русское богатство», редактируемого В. Г. Короленко, отметил: «Грин был бы Грином, если бы и не было Эдгара По». Тогда это были очень редкие слова по отношению к Грину.

Но дело не столько в прямых высказываниях. Если глубже вдуматься в художественный метод Грина, то станет очевидной не только непохожесть, но противоположность его Эдгару По. И, может быть, главное отличие заключается в том, что Грин уже в лучших ранних своих вещах резко не приемлет индивидуалистическое мировосприятие, характерное для Эдгара По. Хотя по чисто внешним признакам — чудеса, тайны, замысловатость сюжета — произведения Грина подчас и близки Эдгару По, однако по сути они несовместимы.

Эдгар По, поэтизируя крайнее одиночество человека, стремился отгородиться от мира, Александр Грин звал к единению с миром и людьми.

Именно гуманистическая направленность художественной мысли Грина, несмотря на причудливость формы, роднит его творчество с традициями русской литературы. Естественно рождаются ассоциации не только с творчеством А. М. Горького («Автобиографическая повесть»), но и с творчеством Гоголя, Достоевского, Бунина...

И точка зрения, которой придерживались и до сих пор придерживаются отдельные писатели и критики — о чуждости Грина традициям русской литературы,— становится более чем спорной.

В аллегорической сказке «Гатт, Витт и Редотт» (1924) наделенные необыкновенной, волшебной силой герои употребляют ее по-разному: тщеславный Гатт, чтобы насладиться силой и могуществом, вызывает наводнение и сам в нем погибает; Витт, желающий подчинить только для себя живые силы природы, умирает от укуса ядовитой змеи; Редотт гибнет, спасая из-под обвала заживо погребенных шахтеров, и заслуживает благодарную память людей.

И пусть аллегория здесь слишком прямолинейна, важно в данном случае то, о чем говорилось выше, *направление* художественной мысли Грина — отрицание эгоистического, индивидуалистического сознания, изображение его краха перед лицом действительности.

Этой же теме посвящены и психологические новеллы «Леаль у себя дома» (1915) и «Брак Августа Эсборна» (1926).

Жалкий, опустившийся шантажист Леаль нравственно окончательно гибнет, когда случайно узнает в любовном письме — предмете шантажа — забытое им собственное письмо. Теперь он окончательно «у себя дома», в низкопробном ка-

баке: для него нет возврата к настоящей жизни, к человеческому достоинству.

Нет будущего и у Августа Эсборна, решившегося на такой эгоистический эксперимент: чтобы испытать счастье, которое испытывает человек при встрече с любимой после разлуки, он в день свадьбы покидает ненадолго новобрачную, сославшись на головную боль. Разлука по очень сложным психологическим причинам растянулась на двенадцать лет. Свидевшись затем с женой, Август Эсборн умирает у ее ног, ибо, как говорит Грин, «он умер уже давно», умер в тот миг, двенадцать лет назад, когда предал доверие и любовь.

Вопреки писателям типа Эдгара По, Грин далек и от того, чтобы вымышленным, красочным миром заменить живую жизнь. Напротив, писатель стремится приблизить действительность к идеалу и гармонии — таким, какими они виделись ему в его художественном воображении.

В романе-феерии «Алые паруса» (1923) герой романа говорит друзьям: «Я понял одну нехитрую истину: она в том, чтобы делать чудеса своими руками». Ранее, в рассказе «Возвращение» (1917), писатель выразил эту же мысль по-другому: «...Вся Земля, со всем, что на ней есть, дана человеку для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть...»

Недаром и вымышленные экзотические города своими конкретными чертами жизни и быта напоминают Одессу, Севастополь, Феодосию — те места, где в своих странствиях побывал писатель. И в этих городах рядом с необычайными красавицами, «королевами ресниц», летающими людьми, «бегущими по волнам» живут обычные люди с их заботами и радостями.

Органическое единство самого невероятного вымысла с повседневностью и даже злободневностью — одна из самых характерных особенностей творческой манеры Грина.

Это наиболее полно выразилось в самом автобиографическом романе Грина «Бегущая по волнам» (1928). Здесь конкретно и зримо воплотилась всегдашняя мечта человека о Прекрасном — Несбывшемся. В романе есть слова, как бы формулирующие основную его мысль: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь

разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Но ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня».

У Томаса Гарвея, героя произведения, мечта о Несбывшемся воплотилась не в образе внешне привлекательной Биче Сениэль, раньше воспринятой его полубольной фантазией как образ девушки из легенды — Фрези Грант. Биче упорна и расчетлива, она не способна мечтать о Несбывшемся. «Я не стучусь в закрытые двери»,— говорит она Гарвею.

Его мечта о красоте и счастье нашла понимание у великодушной, самоотверженной Дези, с ее живой, земной любовью. Потому что она вместе с Томасом Гарвеем всей душой прониклась легендой о Фрези Грант, «бегущей по волнам», девушке в кружевном платье, не боящейся ступить «ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие». Именно Дези услышала в конце романа ее слова, обращенные к людям с чуткими и благородными сердцами: «Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...»

В этом романе удивительно органично слились реальность и фантазия, злободневность и экзотика, красота мира и его нелегкие будни.

Круг тем, образов и мотивов у Грина очень широк и многообразен, их невозможно охватить в одной статье. Но особенное значение для Грина имела тема искусства, творчества. Этой теме посвящены многие произведения Грина, разные по характеру и по стилевой манере. К примеру, фантастический рассказ «Создание Аспера» (1917) и сугубо реалистический — «Акварель» (1928).

В основе «Создания Аспера» — мысль о могучей, захватывающей целиком человека, силе творчества. Судья Гаккер, герой рассказа, создал в своем воображении образ «идеализированного разбойника», защитника бедных и грозы богачей. Оставаясь неизвестным, с помощью хитроумных действий и всяческих технических приспособлений, он решил заставить окружающих поверить в реальное существование Аспера. Ему это удалось. Здесь было все, что приписывала традиция образу «благородного разбойника»: романтическая любовь, таинственные записки, побеги, преследования полицейских... Шесть лет наблюдал Гаккер, как верят в Аспера, восхищаются им. И он не смог пережить гаснущего интереса к создан-

пому им образу, потому что сам как бы перевоплотился в Аспера.

Чтобы в памяти людей сохранился как реальный созданный его фантазией образ, Гаккер погибает так, как подобало погибнуть «благородному разбойнику».

...О возвышающей, облагораживающей силе искусства рассказ «Акварель».

Забитые, озлобленные вечной нуждой и взаимными упреками муж и жена — прачка Бетти и безработный кочегар Клиссен — случайно оказались в музее и узнали на одной из картин свой бедный дом и кусочек двора. Это наполняет их сердца гордостью, у них пробуждается чувство собственного достоинства. Они возвращаются домой примирившимися, подобревшими друг к другу, с надеждой, что жизнь их станет иной.

Сближение этого рассказа с известным рассказом Глеба Успенского «Выпрямила» (похожие чувства испытывает учитель Тяпушкин, увидев скульптуру Венеры Милосской) вполне закономерно.

* * *

Как известно, творческий путь Грина начался очень рано, с начала 900-х годов. Но настоящего расцвета его творчество достигло уже в советское время. В эту пору им были написаны самые значительные его произведения; социальное содержание его вещей стало острее и резче, отчетливее проявляется в них связь со своим временем, с художественными исканиями, утверждавшими всегда, даже в самые сложные для нашей истории моменты, общий оптимистический взгляд на жизнь.

Работал Александр Грин над своими вещами упорно и тщательно. Н. Н. Грин вспоминает, что было около сорока вариантов начала «Бегущей по волнам».

Под конец жизни писатель имел право с гордостью сказать о себе: «Когда я осознал, понял, что я художник, хочу и могу им быть, когда волшебная сила искусства коснулась меня, то всю последующую жизнь я никогда не изменял искусству, творчеству; ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути, я был писателем, им и умру».

Александр Грин умер в 1932 году в городе Старый Крым.

...Нина Николаевна Грин пишет о том, как обрадован и тронут был писатель, получив от Н. С. Тихонова приветственную телеграмму в день 25-летия его литературной деятельности.

Словами Николая Тихонова и хочется закончить предисловие к этому сборнику: «...он любил живую, красивую, сильную жизнь, его герои ищут справедливости, свободы, верят в высоту человеческих подвигов, исканий, в высоту человеческого духа».

Н. Губко

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

Роман

Это Дезирада...

О Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами.

Л. Шадурн

ГЛАВА I

Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время, перед тем как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют,— остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти *Несбывшегося.* Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь

понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком,— место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная

уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего — двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.

ГЛАВА II

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и, может быть, потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и, хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял,— единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того,— внезапное отчетливое создание: рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва

намеченного огнями, странного далекого транспаранта, но все это развивалось в ничто; рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению с случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней» — «Лондон» — «Амстердам» — «Тулон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Тулон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает...—

говорит Монс,—

После долготерпения дня
Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса, гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкну-

тыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.

ГЛАВА III

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей,

родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствие — принимая во внимание обстоятельства — почти развратное, так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению или иной причине она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья; так как было действительно жарко — она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя

дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчать, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену, не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блуза с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса,— такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к клубку.

Не скрою, я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельно-

стью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей — печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду,— явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил — жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием,

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой, банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон — я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминал прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в январе. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толпе чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делам такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы самые безучастные звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас по желанию нашему — отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то неспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать *Анну Макферсон*, приехавшую сегодня с пароходом «Грапвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог

недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Сениэль».

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание:

— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь — наверное, в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной,— а я опустился в кресло, внутренне застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения — несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была по существу огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидаю-

щиеся из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты,— были везде, вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устояв пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она — вот-вот — начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал *всему:* «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным, одиноким весельем — пока вы еще не скрылись,— вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее».

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой,— как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр; но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

ГЛАВА IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак,— это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены; сквозь них блестели вчерашняя вода и звезды огней

рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще большую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и, хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует, как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо; Лерх извещал, что, лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлия Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно, через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

— Ну,— сказал мне Стерс, сдавая карты,— вы покупаете? Ничего?! Хорошо.— Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь,— сказал доктор,— а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре: четыре десятки шестерки; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся,— так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал что̀.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

— Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая, согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю,— ответил наконец Стерс.— Что у вас?

Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «...Бегущая по волнам». Это было как звонок почью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца, да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Изумленный явлением, которое так очевидно не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон.— Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было,— выключило меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь,— ответил я, желая узнать, что скажут другие.— Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы услышали?

— «Бегущая по волнам»,— повторил я с недоумением. Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлия, сделав несколько обычных замечаний иронически серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

— Попробуем установить,— сказал Стерс,— не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации. Так, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос, не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?

Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду; он сказал, что никого не видел и ничего не слыхал. То же сказал Филатр, и, так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.

— В самом деле,— сказал Филатр,— фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец. Что было сказано перед тем, как вы услышали голос?

— Что? Стерс спрашивал, что́ у меня на картах, приглашая открыть.

— Так,— Филатр подумал немного.— Заметьте, как это выходит: «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам».

— Но вопрос относился ко мне,— сказал я.

— Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его.

— Это не объяснение,— возразил Андерсон после того, как все улыбнулись.

— Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием

Рибо или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих, как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и, как ответ ни загадочен — если допустить, что это ответ,— скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса: «Что у вас?» — могли вызвать разряд из области *тени* раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, ни сведены, обратным путем, к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы.

Действительно, так могло быть, но, несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатр, я был страшно задет. Я сказал:

— Почему именно слова Стерса вызвали трещину?

— Так чьи же?

Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами четырех футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.

— Конечно,— подтвердил Стерс.— Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно — следовательно, недостоверно и остальное.

Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дэлию, которая потребовала наконец переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел; со мной вышел Филатр.

Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для

моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно.

Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаясь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть — именно с ним — в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино.

Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел.

«Бегущая по волнам»... Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл,— смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около ста пятидесяти тонн. Оно было погружено в сон.

Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса.

Сидел он на складном стуле и спал, прислонясь к борту.

Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа; вблизи меня — плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно-джентльмен. Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, в дали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя, меж двумя канатами и водой внизу, навесный угол.

Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в *свою* каюту, и я был — так мне представилось — с *той* девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление.

Я отметил уже, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным, живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменились. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв:

Бегущая по волнам

ГЛАВА V

Я вздрогнул — так стукнула в виске кровь. Вздох — не одного изумления,— большего, сложнейшего чувства— задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительно по возник-

шим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был закружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кружится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги.

Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводят рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутой отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии шести-семи футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом. Слово «Бегущая» лежало в тени, «по» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте.

Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развертывались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все — одной, главной мыслью; ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности.

Встав, я подошел к трапу и громко сказал:

— Эй, на корабле!

Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа.

Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе.

Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковое белое кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения,— все эти вещи были не свойственны простой службе матроса.

Кроме того — смуглые, чистые руки, без шершавости и мозолей, и упрямое, дергающееся во сне, худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств, прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки, так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным.

Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя сон, прошлась по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие — ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как бы рассматривая их перед собой.— Как вы попали на палубу?

— Я взошел по трапу,— ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны, так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте.— Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз.

— Зачем?

— Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу,— прибавил я с ударением,— мне следует назвать себя: Томас Гарвей.

Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств — помесь флегмы и бешенства. Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

— Очень хорошо. Я — капитан Вильям Гез. Какому обстоятельству обязан я таким *ранним* визитом?

Но и более неприветливый тон не мог бы обескуражить меня теперь. Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме его еще не установленного значения.

— Капитан Гез,— сказал я с улыбкой,— если считать третий час ночи началом дня,— я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен, и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на парусном судне, несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае, прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем — надеюсь, что вы меня поняли,— я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас.

Пока я говорил это, Гез уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды.

— Я почти уверен, что откажу вам,— сказал Гез,— тем более что это судно не принадлежит мне. Его владелец — Браун, компания «Арматор и Груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить.

Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух.

Я спустился в ярко озаренное помещение, где, кроме нас двух, никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречащего моему настроению, но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля. Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Геза.

Его внешность можно было изучать долго и остаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значения профиля. Между тем профиль замечателен потому, что он есть основа силуэта — одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне второго человека в одном,— как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас, со всеми промежуточными сечениями, уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключениям лицо Геза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом — почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой — к тяжелому, круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно высказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо — широкое. насупленное, с нервной игрой складок широкого лба,— нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Геза — настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно.

— Итак,— сказал Гез, когда мы уселись,— я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект. Возможно, что «Бегущая» простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желания продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на па-

лубе раздались шаги и возглас: «Ха-ха!» — сопровождаемый, должно быть, пьяным жестом.

Видя, что я не встаю, Гез пошевелил бровью, пристально посмотрел на меня с головы до ног и сказал:

— Это вернулся, наконец, Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращусь.

Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна-иллюминаторы, диаметром более двух футов, какие никогда не делаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра; небольшие диваны, обитые дорогим серо-зеленым шелком; палисандровая отделка стен; карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и три электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке — были предметами подлинной роскоши — в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе — дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее, среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином, стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверец буфета свешивалась грязная тряпка.

Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Геза по его возвращении — будет ли он против, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте и за приличную плату.

— Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?

— Мне показалось, — заметил я, — что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.

Гез медлил. Я видел, что мое намерение снестись с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гезу.

— Как вам будет угодно, — сказал Гез. — Я остаюсь при своем, о чем говорил.

— Не спорю.— Мое дружелюбное оживление прошло, сменяясь досадой.— Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.

Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том: поведение Геза мне очень не нравилось.

— Проиграв дело в *низшей* инстанции! — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска; лицо неприятно и дерзко оживилось.— Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать как хотите.

Это была уже непростительная резкость, и в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гезом на его корабле «Бегущая по волнам», а потому решил не давать более повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой.

— Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос,— сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо.— Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.

«Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда»,— сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гезу:

— Все-таки мне надо пойти; я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?

— Я не дам денег,— сказал Гез круто и зло.

— Вы отдадите мне мое жалованье,— мрачно продолжал человек с трубкой,— иначе мы расстаемся.

— Бутлер, вы получите жалованье завтра, когда протрезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша.

— Хорошо! — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал, старшим помощником Геза.— Прекрасные вы говорите слова! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам — настоящим, прошлым и будущим?! Могу тратить свои деньги, как я желаю.

Гез не ответил, но проклятия, которые он сдержал, отпечатались на его лице. Энергия этого заряда выли-

лась в его обращении ко мне. Неприязненный, но хладнокровный джентльмен исчез. Тон обращения Геза напоминал брань.

— Ну, как,— сказал он, стоя у трапа, когда я начал идти по нему,— правда, «Бегущая по волнам» красива, как «Гентская кружевница»? («Гентская кружевница» было судно, потопленное лет сто назад пиратом Киддом Вторым за его удивительную красоту, которой все восхищались.) Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость; если бы вы увидели его на ходу и побыли на нем один день,— вы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас губа не дура.

— Капитан Гез! — вскричал я, разгневанный тем более, что Бутлер, подойдя, усмехнулся.— Если мне действительно придется плыть на корабле этом и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость, во всяком случае, более ровным обращением с вами.

Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гез поспешно и взволнованно произнес:

— Да, я виноват, простите! Я расстроен! Я взбешен! Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего!

Не знаю, что подействовало неприятнее — грубость Геза или этот его странный порыв. Пожав плечами, я спустился на берег и, значительно отойдя, обернулся, еще раз увидев высокие мачты «Бегущей по волнам», с уверенностью, что Гез или Браун, или оба они вместе, должны будут отнестись к моему намерению самым положительным образом.

Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно разбирать их, был слышен в глубине сердца, не даваясь сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях *моих* редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне, и был не властен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал, без всяких объяснений и доказательств,— это, что корабль Геза и неизвестная девушка Биче Сениэль

должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе,— представления возникли с той убедительностью, как бывает при горе или испуге.

Ночь прошла скверно. Я видел сны — много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение.

В девять часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что думает он о таком повороте «трещины на стекле».

ГЛАВА VI

Хотя было рано, Филатр заставил ждать себя очень недолго. Через три минуты, как я сел в его кабинете, он вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к десяти часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав:

— Мне кажется, что с вами что-то произошло!

— Между конторой Угольного синдиката и углом набережной,— сказал я,— стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущая по волнам».

— Как! — сказал Филатр, изумленный более, чем даже я ожидал.— Это не шутка?! Но... позвольте... Ничего, я слушаю вас.

— Оно стоит и теперь.

Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатр опустил глаза, медленно приподняв брови; по выразительному лицу его прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня.

— Да, это бьет,— заметил он.— Но есть продолжение, конечно?

Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть «Бегущую по волнам» раньше, чем

пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гезом.

— Вы согласитесь,— прибавил я при конце своего рассказа,— что у меня могло быть только *это* желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.

— Да,— сказал Филатр, протягивая сигару в воздух к воображаемой пепельнице.— Всё так. Но положение, как ни верти, щекотливое. Впрочем, это часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гез ссылается на Брауна, сам будучи против вас, и это верная примета, что Браун сошлется на Геза. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу.

Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо.

— С трудом соображаю, что писать,— сказал он, оборачиваясь ко мне виском и углом глаза.

Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги.

— Заметьте,— сказал Филатр, останавливаясь,— что Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами, и все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь дальше: «Когда-то, в счастливый для вас и меня день, вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит; затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...»

— Эта дипломатическая неточность, или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения? — спросил Филатр; затем продолжал писать и читать: — «...родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс — другой в каюте...»

— Как странно произносить эти слова,— перебил себя Филатр.— А я их даже пишу: «каюте корабля «Бегущая по волнам», который принадлежит вам,

Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...»

— ...и так далее,— прикончил Филатр, покрывая конверт размашистыми строками адреса.

Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной.

Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Геза ушло.

— Простите, Филатр,— сказал я, объяснив ему это.— Нетерпение мое велико!

Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полуудерживающий жест, коснувшись моего плеча; медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки.

— Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?

— Да, но что? — ответил я.— Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.

— Вы правы, к сожалению. Да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишете мне с дороги? Я узнаю, что произошло с вами?

Я обещал ему и прибавил:

— А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатр?! Вместе со мной?!

Филатр развел руками и улыбнулся.

— Это заманчиво,— сказал он,— но... но... но...— Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещиц письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет — фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову.

— Ничто не вознаградит меня,— сказал Филатр, закуривая и резко бросая спичку.— Как ни своеобразен, как ни аскетичен — по-своему, конечно,— ваш внутренний мир, вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все рав-

но что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые, при всей их искренности, должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце,— Филатр позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна.

Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатр отъехал и обернулся, крикнув:

— Да, с этим не...— Остальное я не расслышал.

ГЛАВА VII

Контора Брауна «Арматор и Груз», как большинство контор такого типа, помещалась на набережной, очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и, едва вышел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера «Бегущую по волнам». Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бугшприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение.

День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду.

Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым, в возбуждении, стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне в слух слово «Гез», отчего я, также забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался.

— Я его не забуду,— говорил матрос.— Я плаваю двадцать лет. Я видел столько капитанов, что, если их сразу сюда впустить, не хватит места всем стать на одной ноге. Я понимаю так, что Гез— сущий дьявол. Не приведи бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вымотает из него все жилы. Я вам скажу: это бешеный человек. Однажды

он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа, только стонал. Мне самому попало; больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придраться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный, мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть, собьет с ног. Это у него — вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал — «понимай, мол, как знаешь, отчего я молчу» — и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же?! На его век дураков хватит!

Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана; потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку.

Все это касалось меня.

— О каком Гезе вы говорите? — спросил я.— Не о том ли, чье судно называется «Бегущая по волнам»?

— Он самый, сударь,— ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо.— Вы, значит, знаете, что это за человек, если только он человек, а не бешеная собака!

— Я слышал о нем,— сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время.— Но я не встречался с ним. Действительно ли он изверг и негодяй?

— Совершенная...— начал матрос, поперхнувшись и побагровев, с торжественной медленностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить — «истина»,— как за моей спиной, перебивая ответ матроса, вылетел неожиданный, резкий возглас: «Чепуха!» Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида.

— Совершенная чепуха,— сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса.— Я не знаю, какое вам дело до капитана Геза, но я,— а вы видите, что я не начальство, что я такой же матрос, как этот горлан,— он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору,— и я утверждаю, что капитан Гез,

во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейшей души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел — это мое дело, и Гез в том не виноват. Мы сделали два рейса в Гор-Сайн. Из всей команды он не сказал никому дурного слова, а наш брат — что там вилять,— сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гез избил плотника. Из остальных сделал котлеты. Кто же поверит этакому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу Бутлеру, старшему помощнику, капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же Бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гез собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слыхивали. И если промеж нас случалась ссора, Гез говорил одно: «Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло».

Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Геза, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и, с выражением терпеливого неодобрения, стал слушать взбешенного хулителя Геза. Я видел, что оба они вполне искренни и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, взывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Геза еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на «Бегущей по волнам»? Тот с достоинством, но с неменьшей запальчивостью рассказал, как он заболел, взял расчет по прибытии в Лисс. Запутавшись в крике, оба стали ссылаться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Геза в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки, брань и ярость фактов, сопровождаемых биением кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну.

Вывеска конторы «Арматор и Груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опущенными на солнечной стороне занавесями, где, среди деловых столов, перестрелки пишущих машин

и сдержанных разговоров служащих, ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках.

Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна; уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

ГЛАВА VIII

Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал, не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованной ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма.

Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях; одет элегантно; разговаривая, он держал карандаш, гладя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей.

— Но,— прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх,— возникла неточность. Судно это не принадлежит мне; оно собственность Геза, и хотя он, как я думаю,— тут, повертев карандаш, Браун

уставил его конец в подбородок,— не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном.

Я ответил, что разговор был и что капитан Гез не согласился взять меня пассажиром на борт «Бегущей по волнам». Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Геза о принадлежности корабля ему. Это положение дела я представил без всех его странностей, как обычный случай или естественную помеху.

У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивые скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнения в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела.

— Относительно капитана Геза,— задумчиво сказал Браун,— я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гез некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля; и так произошло оттого, что Вильям Гез обладает воистину змеиным даром горячего, толкового убеждения — правильнее, способностью закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гез сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Геза. Сын ухитрился привести с собою тень покойника — очень хорошего, неглупого человека — и яростно умолял меня спасти «Бегущую по волнам». Как вы видите,— Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамах красовались фотографии пароходов, числом более десяти,— никакой особой корысти извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании, а потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас есть козырь против капризов Геза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете; это решено, и я напишу Гезу записку, содержание которой даст ему случай оказать вам любезный прием. Гез — сложный, очень тяжелый человек. Советую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит.

Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже — строго говоря — насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.

Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким, успокоительным движением. Я спросил, не знает ли он истории корабля, на что, несколько помедлив, Браун, ответил:

— Оно приобретено Гезом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип — парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер.— Браун взглянул на барометр.— Должен быть ветер.

— Гез сказал мне, что простоит месяц.

— Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут: Гель-Гью, Тоуз, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Даго за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния.

— Однако у него не осталось ни одного матроса.

— О, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности — для Геза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион.

Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гезу явную неловкость его положения.

ГЛАВА IX

Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав: на палубе виднелись матросы. Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гез взял первых попавшихся под руку.

Справясь, я разыскал Геза в капитанской каюте. Он сидел за столом с Бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах.

— Очень рад вас видеть,— сказал Гез после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гезу.— Вы были у Брауна?

Я отдал ему письмо. От распечатал, прочел, взглянул на меня, на Бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся.

— Следовательно, вы устроились,— сказал Гез, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман.— Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море. Море! Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море...— Он задумался, потом продолжал: — Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гель-Гью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?

Я сказал, что мое желание — перевезти вещи немедленно. Почти приятельский тон Геза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту.

— Вычтите из итога и накиньте комиссионные,— сказал, вставая, Гез Бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкой, приглашающий жест.

— Это одна из лучших кают,— сказал Гез, входя за мной.— Вот умывальник, шкаф для книг и несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол — общий, а впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не

могу похвастаться. Я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший, славный такой мулат; он служил у меня раньше, на «Эригоне».

Я был,— смешно сказать,— тронут: так теперешнее обращение капитана звучало непохоже на его дрянной, искусственно флегматичный и — потом — зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримо-хозяйские права Геза начали меня смущать; вздумай он категорически заявить их, я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плавания, я теперь не мог. Я надеялся, что Гез передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одном из наилучших регуляторов всех запутанных положений.

— Относительно денег я решил так,— сказал Гез, выходя из каюты,— вы уплачиваете за стол, помещение и проезд двести фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.

Мне показалось, что из глаза в глаз Геза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Взбешенный, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем великого своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу двести фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.

— Хорошо,— сказал я,— я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.

— Так,— ответил Гез тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов; потом, как бы спохватясь, попрощался: — Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное.

Мы расстались, и я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в четыре часа дня на «Бегущей по волнам», куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал и уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломаного гроша; затем велел вынести багаж и приехал к кораблю в то время, когда Гез сходил на

набережную. Его сопровождали Бутлер и второй помощник — Синкрайт, молодой человек с хитрым, неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гез, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня, затем все трое скрылись в арке Трехмильного проезда.

На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедленно явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту.

Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне. «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее тремястами ящиков железных изделий. Наивно и представительно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, и скаля на каждом слове крепкие зубы, Гораций, наконец, проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма.

— Я должен вам сказать, господин,— проговорил Гораций, потирая ладони,— что будет очень, очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам — прекрасных синьор. Это его знакомые. Уже приготовлены две каюты. Там уже поставлены: духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала; постлано тонкое белье. А также закуплено много вина. Вино будет всем — и мне и матросам.

— Недурно,— сказал я, начиная понимать, какого рода дам намерен пригласить Гез в Дагоне.— Надеюсь, они не его родственницы?

В выразительном лице Горация перемигнулось все, от подбородка до вывернутых белков глаз. Он щелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать.

— Я не приму участия в вашем веселье,— сказал я.— Но Гез может, конечно, развлекаться, как ему нравится.

С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном.

Зная свойство слуг всячески раздувать сплетню, а также, в ожидании наживы, присочинять небылицы, которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Геза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту (капитан отправился обедать в гостиницу), я съел его, очень довольный одиночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой.

— Что же это? — сказал он.— Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме *ваши* слова и — теперь — вас; я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьянсов и шоколад, более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом: «Пирамида» и «Красное-черное».

Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с «Бегущей по волнам», как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гезе. После его свидания с Брауном Филатр говорил с ним в телефон, получив более полную характеристику капитана.

— По-видимому, ему нельзя верить,— сказал Филатр.— Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны; так что хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знайте также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, «Бегущая по волнам» присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?

— У меня два строя мыслей теперь,— ответил я.— Их можно сравнить с положением человека, которому

вручена шкатулка с условием: отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке,— это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить.

Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной, но в этих обыкновенных речах неотступно присутствовали слова «Бегущая по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. След утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуждении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в заразительном, увлекающем признании.

Я проводил его и вышел с ним на набережную. Расставаясь, Филатр сказал:

— Будьте с легкой душой и хорошим ветром!

Но по ощущению его крепкой, горячей руки и взгляду я услышал больше, как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе:

— Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.

Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрайта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая, может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гезе.

— Я слышал,— сказал он, присматриваясь ко мне,— что вы не поладили с капитаном. Верно: поладить с ним трудно, но, если уж вы с ним поладили, этот человек сделает все. Я всей душой на его стороне; скажу прямо: это — моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи; смею вас уверить,— все клевета. Он вспыльчив и самолюбив — о, очень горяч! Замечательный человек! Стоит вам пожелать — и Гез

составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре: три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам? Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить.

Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева, замечательной работы, были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе; на стенах — атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым одеялом — все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стенного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг; несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой.

Я осматривался с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал:

— Каково живет капитан? Это его каюта. Я ее показал затем, что здесь во всем самый тонкий вкус. Вот сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги, и самые разные.

Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое жилье без ведома и согласия хозяина.

— Это вы виноваты,— прибавил я.— Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?

Синкрайт озадаченно помолчал: так, видимо, изумили его мои слова.

— Хорошо,— сказал он угасшим тоном.— Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня вторые ключи от всех помещений, и...— Не зная, что еще сказать, он закончил: — Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки,— уверенно повторил Синкрайт.— Мы здесь все — свои люди.

— Пройдем в библиотеку,— предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях.

Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов тысячи в три. Вдоль полок, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.

Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гез закупил еще томов триста.

— Браун не ездит с вами? — спросил я.— Или он временно передал корабль Гезу?

На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга, и уже листы разрезаны!» — или: «Впору университету такая библиотека». Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись, для разнообразия, на переутомление.

Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста. Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках и даже на русском. Содержание их было различное: история, математика, философия, редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв, книги по мореходству и справочники, но более всего — романы, где рядом с Теккереем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры.

Между тем смеркалось; я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрайтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты — подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на крап: одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах в резком ветре, крап другой колоды был великолепный натюрморт — золотой кубок, полный до краев алым вином, среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на

мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и, хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.

В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу — ужинать.

Когда я вышел, Гез, Бутлер, Синкрайт уже были за столом в общем салоне.

ГЛАВА X

Гез кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда.

Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе, но Гез перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванию, Гез кратко отвечал: «да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне.

Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показал мне, что новая, наспех нанятая команда — лишь наполовину кое-что стоящие матросы; остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрайтом пили если и не так круто, как Гез, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая, Гораций возился с моим прибором несколько тщательнее, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гез, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал.

Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрайта:

— Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией, почему придется дать им две каюты.

Все расхохотались своим, имеющим, конечно, особое значение, мыслям.

— У нас будут дамы,— сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня, Гез.— Вас это не беспокоит?

Я ответил, что мне все равно.

— Тем лучше,— заявил Гез.

Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело; за ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан, стоя, курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.

— Партию в шахматы? — сказал он учтиво.— Если вам угодно.

Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей, художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей.

Хотя Гез был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него,— он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым, так как он боролся с желудком.

— Да,— сказал Гез,— были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, «Бегущая по волнам» — бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного... он потом разорился. Итак,— Гез повертел королеву,— с женщинами входит шум, трепет, крики; конечно — беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?

— Я не составил взгляда на такое обстоятельство,— ответил я, делая ход.

— Вам это должно нравиться,— продолжал Гез, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию.— Должно, потому что вы — я говорю это без мысли обидеть вас — появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.

— Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?

Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферзью и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза; наконец, я обманул его ложной надеждой и объявил мат в семь ходов. Гез был красен от раздражения.

Когда он ссыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали.

— Вы сильный игрок,— объявил Гез.— Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон, там берем груз и плывем в Гель-Гью. Вы не были в Гель-Гью? Он лежит, по курсу, на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше, как через двадцать — двадцать пять дней.

Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно.

Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.

ГЛАВА XI

Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что «Бегущая по волнам» больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам; было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна.

На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность, неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничась полустаканом холодного пунша, который держал всегда в до-

роге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что, не будь дождя, Лисс был бы виден на расстоянии часа пути.

— Хороший ветер,— прибавил Гораций.— Капитан Гез держит вахту, так что вам завтракать без него.

При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отношения.

Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны, при солнце или дожде,— все равно; поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закинутым, если смотреть вверх, лицом таково, что видеть их, двигаясь с ними,— одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

«Бегущая по волнам» шла на резком попутном ветре со скоростью, как я взглянул на лаг, пятнадцати морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гез. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым.

Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, дожидающегося завтрака, и мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня; мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный; вчерашний хмель сказывался у него бледностью; руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так, он подробно, мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего

обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно узнать направление и все заходы корабля, я обратился к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Геза.

Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно, говорить или не говорить, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Геза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало, даже в мелочах, держаться настороже, тем более — с Синкрайтом, сильно не нравящимся мне всей своей повадкой, и я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Геза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась.

— Я слышал,— сказал Синкрайт,— что вам все равно, куда мы плывем, поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.

— Мне это действительно все равно,— ответил я, морщась от его угодливой улыбки,— но такое отношение не мешает законному любопытству.

Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав: «Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу».

Я стоял у стола, склонясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня, и, машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

ГЛАВА XII

Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнанными без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было не плохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь

правой рукой; левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чинность позы. На девушке было темное платье с кружевным вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице.

Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрайт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрайта хотя бы мгновением на этом портрете — казалось мне нестерпимо.

Хотя я видел девушку всего раз, на расстоянии, и не говорил с ней, это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но *теперь* — резко и тяжело; оно неестественно соединялось с личностью Геза. В это время Синкрайт сказал:

— Отсюда идет течение; даже при слабом ветре можно сделать...

— От десяти до двенадцати миль,— сказал Гез позади меня. Я не слышал, как он вошел.— Синкрайт,— продолжал Гез,— ваша вахта началась четыре минуты назад. Ступайте, я покажу карту.

Синкрайт, спохватясь, ринулся и исчез.

Обветренное лицо Геза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гез оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гель-Гью дней через пять-шесть. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Биче Сениэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому пройдохе, как Гез,— навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать.

Взгляд Геза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову; встретясь наконец с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, оттоняя рукой дым сигары.

— Как вам нравится Синкрайт? — сказал он, протягивая руку к столу — стряхнуть пепел. При этом, не поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к *той* девушке, и от сильного желания понять суть отношения — но понять без расспросов — я придал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатр оказался прав, когда заметил, что «обозначается действие»,— а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо, окончательно убежден, что события приведут к действию.

Итак, я ответил на вопрос о Синкрайте:

— Синкрайт, как всякий человек первого дня пути,— человек, похожий на всех: с руками и головой.

— Дрянь человек,— сказал Гез. Его несколько злобное утомление исчезло; он погасил окурок, стал вдруг улыбаться и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую — во всех отношениях жизни на корабле. Ответив как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично разумно по форме, я встал, полагая, что Гез отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гез отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку.

Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гез тронул струны, подвинтил колки и наладил смычок, говоря:

— Если будет очень противно, скажите немедленно.

Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гез встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза.

Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на полфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт, и есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот страстный этюд и порывистая манера Геза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гез покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я услышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв; затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом,— Гез, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня.

Я похвалил его игру. Он, если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гез принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие диссонансы — и так притворно увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал.

Видя, что я решительно встал, Гез опустил смычок и пожелал приятно провести день — несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о происшедшем.

ГЛАВА XIII

Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг.

Единственным человеком, которого, без особого морального насилия над собой, я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был Бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что Бутлер придет.

Меж тем погода улучшилась; ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп; хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и Бутлер действительно появился если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стаканчиком полезных размеров.

Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый, живой тон, рассказал анекдот и, когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на непринужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы, сказал ему, что «Бегущая по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть.

— Оно было бы еще лучше,— сказал Бутлер,— для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм. Но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость, но все же грузить более двухсот тонн немыслимо. Теперь, при высокой цене фрахта, еще можно существовать, а вот в прошлом году Гез наделал немало долгов.

Я узнал также, что судно построено Нэдом Сениэль четырнадцать лет назад. При имени «Сениэль» — воздух сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица.

— Оно выстроено для прогулок,— говорил Бутлер,— и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сениэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гель-Гью; те были выкинуты, очень давно, на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущая по волнам». Значит, эта история — отчасти фамильная, и жена Сениэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет пять назад Нэд Сениэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитаном «Бегущей»; я здесь недавно. Вся эта история мне известна от Геза.

— Следовательно,— спросил я,— Гез купил судно после разорения Сениэля?

Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав:

— Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела — не моя забота.

Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гезу, выразив сожаление, крайне смягченное

по остроте своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна; она лишена правильных семейных забот.

— Детей?! — сказал Бутлер, делая круглые глаза. Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера.— Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?

— Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гез женат.

— Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни; ну, так это дочь Сениэля.

Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом, замкнутом лице выступила улыбка,— начало улыбки.

Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бутлер навряд ли стал бы распространяться подробнее малознакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством.

Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела.

Я остался. Я думал, не следовало ли рассказать Бутлеру о моей встрече на берегу с Биче Сениэль, но вспомнил, что мне в сущности ничего не известно об отношениях Геза и Бутлера. Он мог передать этот разговор капитану, вызвав тем новые осложнения. Кроме того, почти одновременное прибытие девушки и корабля в Лисс — не произошло ли с ведома и согласия обеих сторон? Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка; узнав кое-что, я, как и раньше, знал очень немного о том, почему фотография Биче Сениэль украшает стол Геза. Человеческие отношения бесконечно разнообразны; я встречал случаи, когда громадный интерес к темному положению распыливался простейшим решением, иногда — пустяком. С другой стороны, надо было признать, что портрет дочери Сениэля, очень красивой и на редкость привлекательной девушки, не мог быть храним Гезом безотносительно к его чувствам. Со всем тем странно было допустить взаимную близость этих двух, столь непохожих людей.

Не делая решительных выводов, то есть представляя их, но оставляя в сомнении, я заметил, как мои размышления о Биче Сениэль стали пристрастны и беспокойны. Воспоминание о ней вызывало тревогу; если мимолетное впечатление ее личности было так пристально, то прямое знакомство могло вызвать чувство еще более сильное и, вероятно, тяжелое, как болезнь. Не один раз наблюдал я это совершенное поглощение одного существа другим — женщиной или девушкой. Мне случалось быть в положении, требующем точного взгляда на свое состояние, и я никогда не мог установить, где подлинное начало этой мучительной приверженности, столь сильной, что нет даже стремления к обладанию; встреча, взгляд, рука, голос, смех, шутка — уже являются облегчением, таким мощным среди остановившей всю жизнь одержимости единственным существом, что радость равна спасению. Но я был на большом расстоянии от прекрасной опасности, и я был спокоен, если можно назвать спокойствием упорное размышление, лишенное терзающего стремления к встрече.

Меж тем солнце пробилось наконец сквозь туманные облачные пласты; по яркому морю кружилась пена. Вскоре я отправился к себе вниз, где, никем не потревоженный, провел в чтении около трех часов. Я читал две книги — одна была в душе, другая в руках.

Приближалось время обеда, который, по корабельным правилам, подавался в час дня. Качать стало медленнее и не так сильно, как утром. Я решил обедать один по той причине, что обед приходился на вахтенные часы Бутлера и мне предстояло, следовательно, сидеть с Гезом и Синкрайтом. Я никогда не чувствовал себя хорошо в обществе людей, относительно которых ломал голову над каким-либо обстоятельством их жизни, не имея возможности прямо о том сказать. Это — о Гезе; что касается Синкрайта,— его ползающая улыбка и сальный взгляд были мне нестерпимы.

Вызвав Горация, я сговорился с ним, узнав, что обед будет несколько раньше часа, потому что близок Дагон, где, как известно, Гез должен погрузить железо.

Скоро мне в каюту подали обед. Я отобедал и, заслышав на палубе оживление, вышел наверх.

ГЛАВА XIV

«Бегущая по волнам» приближалась к бухте, раскинутой широким охватом отступившего в глубину берега. Оттуда шел смутный перебой гула. Гез, Бутлер и Синкрайт стояли у борта. Команда тянула фалы и брасы, переходя от мачты к мачте.

Берег развертывался мрачной перспективой фабричных труб, опоясанных слоями черного дыма. Береговая линия, где угрюмые фасады, акведуки, мосты, краны, цистерны и склады теснились среди рельсовых путей, напоминала затейливый силуэт, так было здесь все черно от угля и копоти. Стон ударов по железу набрасывался со всех концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обморочное дребезжание подвод — все это, если слушать, не разделяя звуков, составляло один крик. Среди рева металлов, отстукивая и частя, выбрасывали гнилой пар сотни всяческих труб. У молов, покрытых складами и сооружениями, вид которых напоминал орудия пытки — так много крюков и цепей болталось среди этих подобий Эйфелевой башни,— стояли баржи и пароходы, пыля выгружаемым каменным углем.

«Бегущая по волнам» опустила якорь. Паруса упали, потом исчезли. Встретив Бутлера, я спросил, долго ли мы пробудем в Дагоне. Он сказал, что скоро начнут грузить, и, действительно, прошло около получаса, как буксир подвел к нам четырехугольный тяжелый баркас, из трюма которого носильщики стали таскать по трапу крепкие деревянные ящики. Чистая палуба «Бегущей» покрылась грязью и пылью. Я ушел к себе, где некоторое время слышал однообразную звуковую картину: топот босых ног, стук брошенного на скат ящика и хриплые голоса. Так продолжалось часа два. Наконец установилась относительная тишина. Все рабочие, как я видел это в иллюминатор, сошли на площадку, и буксир потащил ее в порт.

Вскоре после этого к навесному трапу, опущенному по той стороне корабля, где находилась моя каюта, подплыла лодка, управляемая наемным лодочником. Шлюпка прошла так близко от иллюминатора, что я бегло рассмотрел ее пассажиров. Это были три женщины: рыжая, худенькая, с сжатым ртом и прищуренны-

ми глазами; крупная, заносчивого вида, блондинка и третья — бледная, черноволосая, нервного, угловатого сложения. Махая руками, эти три женщины встали, смотря вверх и выкрикивая какие-то отчаянные приветствия. На их плечах были кружевные накидки; волосы подобраны с грубой пышностью, какой принято поражать в известных местах; сильно напудренная, театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях, компания эта быстро пересекла круглый экран пространства, открываемого иллюминатором. Я заметил картонки и чемоданы. Гез получил гостей.

Даже не поднимаясь на палубу, я мог отлично представить сцену встречи женщин. Для этого не требовалось изучения нравов. Пока я мысленно видел плохую игру в хорошие манеры, а также ненатурально подчеркнутую галантность,— в отдалении послышалось, как весь отряд бредет вниз. Частые шаги женщин и тяжелая походка мужчин проследовали мимо моей двери, причем на слова, сказанные кем-то вполголоса, раздался взрыв смеха.

В каюте Геза стоял портрет неизвестной девушки. Участники оргии собрались в полном составе. Я плыл на корабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства, так же странного при этих обстоятельствах, как ревнивое желание разобрать, о чем шепчутся за стеной.

Во всем крылся великий и опасный сарказм, зародивший тревогу. Я ждал, что Гез сохранит в распутстве своем по крайней мере возможную элегантность,— так я думал по некоторым его личным чертам; но поведение Геза заставило ожидать худших вещей, а потому я утвердился в намерении совершенно уединиться. Сильнее всего мучила меня мысль, что, выходя на палубу днем, я рисковал против воли быть втянутым в удалую компанию. Мне оставались раннее, еще дремотное утро и глухая ночь.

Пока я так рассуждал, стало смеркаться. Береговой шум раздавался теперь глуше; я слышал, как под окрики Бутлера ставят паруса, делаются приготовления плыть далее. Брашпиль начал выворачивать якорь, и погромыхивающий треск якорной цепи некоторое время был главным звуком на корабле. Наконец произве-

ли поворот. Я видел, как черный, в огнях берег уходит влево и океан расстилает чистый горизонт, озаренный закатом. Смотря в иллюминатор, я по движению волн, плывущих на меня, но отходящих по борту дальше, назад, минуя окно, заметил, что «Бегущая» идет довольно быстро.

Из столовой донесся торжествующий женский крик; потом долго хохотал Синкрайт. По коридору промчался Гораций, бренча посудой. Затем я слышал, как его распекали. После того неожиданно у моей двери раздались шаги, и подошедший стукнул. Я немедленно открыл дверь.

Это был надушенный и осмелевший Синкрайт, в первом заряде разгульного настроения. Когда дверь открылась, из салона, сквозь громкий разговор, послышалось треньканье гитар.

Повинуясь моему взгляду, Синкрайт закрыл дверь и преувеличенно вежливо поклонился.

— Капитан Гез просит вас сделать честь пожаловать к столу,— заявил он.

— Передайте капитану мою искреннюю благодарность,— ответил я с досадой,— но скажите также, что я отказываюсь.

— Надеюсь, вас можно убедить,— продолжал Синкрайт,— тем более что все мы будем очень огорчены.

— Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.

— Хорошо! — сказал он удивленно и вышел, повторяя: — Жаль, очень жаль!

Предчувствуя дальнейшие покушения, я взял перо, бумагу и сел к столу. Я начал писать Лерху, рассчитывая послать это письмо при первой остановке. Я хотел иметь крупную сумму.

На второй странице письма снова раздался настойчивый стук; не дожидаясь разрешения, в каюту вступил Гез.

ГЛАВА XV

Я повернулся с неприятным чувством зависимости, какое испытывает всякий, если хозяева делаются бесцеремонными.

Гез был в смокинге. Его безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная судо-

рога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян. Подойдя так близко, что я, встав, отодвинулся, опасаясь неустойчивости его тела, Гез оперся правой рукой о стол, а левой подбоченился. Он нервно дышал, стараясь стоять прямо, и сохранял равновесие при качке тем, что сгибал и распрямлял колено. На мою занятость письмом Гез даже не обратил внимания.

— Хотите повеселиться? — сказал он, значительно подмигивая, в то время как его острый, холодный взгляд безучастного к этой фразе лица внимательно изучал меня.— Я намерен установить простые, дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.

— Синкрайт был,— заметил я как мог миролюбиво.— Он, конечно, передал вам мой ответ.

— Я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь,— объявил Гез.— Бросьте это! Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.

— Капитан Гез,— сказал я, тщательно подбирая слова, чувствуя приступ ярости, не желая поддаваться гневу, но видя, что принужден положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах,— капитан Гез, я прошу вас навсегда забыть обо мне как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл и оправдание; более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек, и если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.

Сказав так, я ждал, что он пробурчит извинение и уйдет. Он не изменил позу, не шелохнулся, лишь стал еще бледнее, чем был. Откровенная неистовая ненависть светилась в его глазах. Он вздохнул и засунул руки в карманы.

— Вы нанесли мне оскорбление,— медленно произнес Гез.— Еще никто... Вы высказали мне презрение, и я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать: как вы представляете наши отношения дальше?! Хотел бы я знать, да! Не менее тридцати дней продлится мой рейс. Даю слово, что вы раскаетесь.

— Наши отношения точно определены,— сказал я, не видя смысла уступать ему в тоне.— Вы получили двести фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество, в придачу к ней — не слишком ли незавидная компенсация?

Был один момент, когда, следя за выражением лица Геза, я подумал, что придется выбросить его вон. Однако он сдержался. Пристально смотря мне в глаза, Гез засунул руку во внутренний карман, задержал там ее порывистое движение и торжественно произнес:

— Я тотчас швырну вам эти деньги назад!

Он вынул руку, оказавшуюся пустой, с гневом опустил ее и, повторив, что вернет деньги, добавил: «Вам не придется хвастаться своими деньгами»,— затем вышел, хлопнув дверью.

После этого я немедленно запер каюту ключом и стал у двери прислушиваться.

В столовой наступила относительная тишина; меланхолически звучала гитара. Там стали ходить, переговариваться; еще раз пронесся Гораций, крича на ходу: «Готово, готово, готово!» Все показывало, что попойка не замирает, а развертывается. Затем я услышал шум ссоры, женский горький плач и — после всего этого — хоровую песню.

Устав прислушиваться, я сел и погрузился в раздумье. Гез сказал правду: трудно было ждать впереди чего-нибудь хорошего при этих условиях. Я решил, что если ближайший день не переменит всей этой злобной нечистоты в хотя бы подобие спокойной жизни,— самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Я был сильно обеспокоен поведением Геза. Хотя я не видел прямых причин его ненависти ко мне, все же сознавал, что так должно быть. Он был естествен в своей ненависти. Он не понимал меня, я — его. Поэтому, с его характером, образовалось военное положение, и с гневом, с тяжелым чувством безобразия минувшей сцены, я лег, но лег не раздеваясь, так как не знал, что еще может произойти.

Улегшись, я закрыл глаза, скоро опять открыв их. При моем этом состоянии сон был прекрасной, но наивной выдумкой. Я лежал так долго, еще раз обдумывая события вечера, а также объяснение с Гезом завтра утром, которое считал неизбежным. Я стал наконец

надеяться, что, когда Гез очнется — если только он сможет очнуться,— я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва ли не раскаивается уже теперь. Увы, я мало знал этого человека!

ГЛАВА XVI

Прошло минут пятнадцать, как, несколько успокоясь, я представил эту возможность. Вдруг шум, слышный на расстоянии коридора, словно бы за степой, перешел в коридор. Все или почти все вышли оттуда, возясь около моей двери с угрожающими и беспокойными криками. Было слышно каждое слово.

— Оставьте ее! — закричала женщина.

Вторая злобно твердила:

— Дура ты, дура! Зачем тебя черт понес с нами?

Послышались плач, возня; затем ужасный, истерический крик:

— Я не могу, не могу! Уйдите, уйдите к черту, оставьте меня!

— Замолчи! — крикнул Гез. По-видимому, он зажимал ее рот.— Иди сюда. Берите ее, Синкрайт!

Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» — и позорный звук тяжелой пощечины прозвучал среди громких рыданий. Они перешли в вопль, и я открыл дверь.

Мое внезапное появление придало гнусной картине краткую неподвижность. На заднем плане, в дверях салона, стоял сумрачный Бутлер, держа за талию раскрасневшуюся блондинку и наблюдая происходящее с невозмутимостью уличного прохожего. Гез тащил в салон темноволосую девушку; тянул ее за руку. Ее лиф был расстегнут, платье сползло с плеч, и, совершенно ошалев, пьяная, с закрытыми глазами, она судорожно рыдала; пытаясь вырваться, она едва не падала на Синкрайта, который, увидев меня, выпустил другую руку жертвы. Рыжая женщина, презрительно подбоченясь, смотрела свысока на темноволосую и курила, отбрасывая руку от рта резким движением хмельной твари.

— Пора прекратить скандал,— сказал я твердо.— Довольно этого безобразия. Вы, Гез, ударили эту женщину.

— Прочь! — крикнул он, наклонив голову.

Одновременно с тем он опустил руку так, что не ожидавшая этого женщина повернулась вокруг себя и хлопнулась спиной о стену. Ее глаза дико открылись. Она была жалка и мутно, синевато бледна.

— Скотина! — Она говорила, задыхаясь и хрипя, указывая на Геза пальцем.— Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было,— обратилась она ко мне.— Было пари. Я проиграла. Проигравший должен выпить бутылку. Я больше пить не могу. Мне худо. Я выпила столько, что и не угнаться этим соплякам. Насильно со мной ничего не сделаешь. Я больна.

— Идешь ты? — сказал Гез, хватая ее за шею.

Она вскрикнула и плюнула ему в лицо. Я успел поймать занесенную руку капитана, так как его кулак мелькнул мимо меня.

— Ступайте, ступайте! — испуганно закричал Синкрайт.— Это не ваше дело.

Я боролся с Гезом. Видя, что я заступился, женщина вывернулась и отбежала за мою спину. Изогнувшись, Гез отчаянным усилием вырвал от меня свою руку. Он был в слепом бешенстве. Дрожали его плечи, руки; тряслось и кривилось лицо. Он размахнулся: удар пришелся мне по локтю левой руки, которой я прикрыл голову. Тогда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот, после чего Гез грохнулся во весь рост, стукнув затылком.

— Довольно! Довольно! — закричал Бутлер.

Женщины, взвизгнув, исчезли. Бутлер встал между мной и поверженным капитаном, которого, приподняв под мышки, Синкрайт пытался прислонить к стенке. Наконец Гез открыл глаза и подобрал ногу; видя, что он жив, я вошел в каюту и повернул ключ.

Все трое говорили за дверью промеж себя, и я время от времени слышал отчетливые ругательства. Разговор перешел в подозрительный шепот; потом кто-то из них выразил удивление коротким восклицанием и ушел наверх довольно поспешно. Мне показалось, что это Синкрайт. В то же время я приготовил револьвер,

так как следовало ожидать продолжения. Хотя нельзя было допустить избиения женщины — безотносительно к ее репутации,— в чувствах моих образовалась скверная муть, подобная оскомине.

Послышались шаги возвратившегося Синкрайта. Это был он, так как, придя, он громко сказал:

— Однако наш пассажир молодец! И то, правду сказать, вы первый начали!

— Да, я погорячился,— ответил, вздохнув, Гез.— Ну, что же, я наказан — и за дело; мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?

— Странный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.

— Смотрите, Гез! — сказал Бутлер; понизив голос, он прибавил: — Мне все равно, но знайте, что́ я сказал. И не забудьте.

Гез медленно рассмеялся.

— В самом деле! — сказал он.— Я сделаю это немедленно.

Капитан подошел к моей двери и постучал кулаком с решимостью нервной, прямой натуры.

— Кто стучит? — спросил я, поддерживая нелепую игру.

— Это я — Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.

— Если вы действительно раскаиваетесь,— возразил я, мало веря его заявлению,— то скажите мне то же самое, что теперь, но только утром.

Раздался странный скрип, напоминающий скрежет.

— Вы слушаете? — сказал Гез сумрачно, подавленным тоном.— Я клянусь вам. Вы можете мне поверить. Я стыжусь себя. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.

Я знал, что битые часто проникаются уважением и — как это ни странно — иногда даже симпатией к тем, кто их физически образумил. Судя по тону и смыслу настойчивых заявлений Геза, я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Я открыл дверь и, не выпуская револьвера, стал на пороге.

Взгляд Геза объяснил все, но было уже поздно. Синкрайт захватил дверь. Пять или шесть матросов, по-видимому, сошедших вниз крадучись, так как я ша-

гов не слышал, стояли наготове, ожидая приказания. Гез вытирал платком распухшую губу.

— Кажется, я имел глупость вам поверить,— сказал я.

— Держите его,— обратился Гез к матросам.— Отнимите револьвер.

Прежде чем несколько рук успели поймать мою руку, я увернулся и выстрелил два раза, но Гез отделался только тем, что согнулся, отскочив в сторону. Прицелу помешали толчки. После этого я был обезоружен и притиснут к стене. Меня держали так крепко, что я мог только поворачивать голову.

— Вы меня ударили,— сказал Гез.— Вы все время оскорбляли меня. Вы дали мне понять, что я вас ограбил. Вы держали себя так, как будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить. Я вас не трону. Я мог бы заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз — я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.

Этого я не ожидал, и, хотя был сильно встревожен,— мой гнев дошел до предела, за которым я предпочитал все опасности моря и суши дальнейшим издевательствам Геза.

— Вы затеваете убийство,— сказал я.— Но помните, что до Дагона никак не более ста миль, и, если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.

— Сколько угодно,— ответил Гез.— За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле! Этому есть свидетели. Покинуть «Бегущую по волнам» *тайно* — в вашем духе. Этому будут свидетели.

Он декламировал, наслаждаясь грозной ролью и закусив удила. Я оглядел матросов. То был подвыпивший, мрачный сброд, ничего не терявший, если бы ему даже приказали меня повесить. Лишь молчавший до сего Бутлер решился возразить:

— Не будет ли немного много, капитан?

Гез так посмотрел на него, что тот плюнул и ушел. Капитан был совершенно невменяем. Как ни странно, именно эти слова Бутлера подстегнули мою решимость спокойно сойти в шлюпку. Теперь я не остался бы ни

при каких просьбах. Мое негодование было безмерно и перешагнуло всякий расчет.

— Давай шлюпку, подлец! — сказал я.

Все мы быстро поднялись вверх. Стоял мрак, но скоро принесли фонарь. «Бегущая» легла в дрейф. Все это совершалось безмолвно — так казалось мне,— потому что я был в состоянии напряженной, болезненной отрешенности. Матросы принесли мои вещи. Я не считал их и не проверял. Значение совершающегося смутно маячило в далеком углу сознания. Были приспущены тали, и я вошел в шлюпку, повисшую над водой. Со мной вошел матрос, испуганно твердя: «Смотрите, вот весла». Затем неизвестные руки перебросили мои вещи. Фигур на борту я не различал. «К дьяволу!» — сказал Гез. Матрос, двигая фонарем, яркое пятно которого создавало в шлюпке странный уют, держался за борт, ожидая, когда меня спустят вниз. Наконец шлюпка двинулась и встряхнулась на поддавшей ровной волне. Стало качать. Матрос отцепил тали и исчез, карабкаясь по ним вверх.

Все было кончено. Волны уже отнесли шлюпку от корабля так, что я видел, как бы через мостовую, ряд круглых освещенных окон низкого дома.

ГЛАВА XVII

Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть, с невольным и бесцельным ожиданием. Вдруг на палубе раздались возгласы, крики, спор и шум — так внезапно и громко, что я не разобрал, в чем дело. Наконец послышался требовательный женский голос, проговоривший резко и холодно:

— Это мое дело, капитан Гез. Довольно, что я так хочу!

Все дальнейшее, что я услышал, звучало изумлением и яростью. Гез крикнул:

— Эй, вы, на шлюпке! Забирайте ее! — Он прибавил, обращаясь неизвестно к кому: — Не знаю, где он ее прятал!

Второе его обращение ко мне было, как и первое, без имени:

— Эй, вы, на шлюпке!

Я не удостоил его ответом.

— Скажите ему сами, черт побери! — крикнул Гез.

— Гарвей! — раздался свежий, как будто бы знакомый голос неизвестной и невидимой женщины.— Подайте шлюпку к трапу, он будет спущен сейчас. Я еду с вами.

Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть кто-нибудь из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни условиях. Трап стукнул: отвалясь и наискось упав вниз, он коснулся воды. Я подвинул шлюпку и ухватился за трап, всматриваясь наверх до боли в глазах, но не различая фигур.

— Забирайте вашу подругу,— сказал Гез.— Вы, я вижу, ловкач.

— Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! — воскликнул Синкрайт.

Шагов я не слышал. Внизу трапа появилась стройная, закутанная фигура, махнула рукой и перескочила в шлюпку точным движением. Внизу было светлее, чем смотреть вверх, на палубу. Пристально взглянув на меня, женщина нервно двинула руками под скрывавшим ее плащом и села на скамейку рядом с той, которую занимал я. Ее лица, скрытого кружевной отделкой темного покрывала, я не видел, лишь поймал блеск черных глаз. Она отвернулась, смотря на корабль. Я все еще удерживался за трап.

— Как это произошло? — спросил я, теряясь от изумления.

— Какая наглость! — сказал Гез сверху.— Плывите куда хотите, и от души желаю вам накормить акул!

— Убийца! — закричал я.— Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб!

— Он получит пулю,— спокойно, почти рассеянно сказала неизвестная женщина, и я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить, особенно эти беспечные, твердые глаза.

— Прочь от корабля! — сказала она вдруг и повернулась ко мне.— Оттолкните его веслом.

Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Град насмешек полетел с палубы. Они были слишком гнусны,

чтобы их повторять здесь. Голоса и корабельные огни отдалились. Я машинально греб, смотря, как судно, установив паруса, взяло ход. Скоро его огни уменьшились, напоминая ряд искр.

Ветер дул в спину. По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы с светящимся циферблатом, я увидел именно без пяти минут четыре. Ровное волнение не представляло опасности. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно, так как из разговоров на «Бегущей» можно было понять, что эта часть океана между Гарибой и полуостровом весьма судоходна. Но больше всего меня занимал теперь вопрос, кто и почему сел со мной в эту дикую ночь.

Между тем стало если не светлеть, то яснее видно. Волны отсвечивали темным стеклом. Уж я хотел обратиться с целым рядом естественных и законных вопросов, как женщина спросила:

— Что вы теперь чувствуете, Гарвей?

— Вы меня знаете?

— Я знаю, как вас зовут; скажу вам и свое имя: Фрези Грант.

— Скорее мне следовало бы спросить вас,— сказал я, снова удивясь ее спокойному тону,— да, именно спросить, как чувствуете себя вы — после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана? Я был потрясен; теперь я, к этому, еще оглушен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?

— Насильно?! — сказала она, тихо и лукаво смеясь.— О нет, нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.

— Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.

— О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?

Предполагая, что она взволнована, хотя удивительно владеет собой, я спросил, не выпьет ли она немного вина, которое у меня было в баулах,— чтобы укрепить нервы.

— Нет,— сказала она.— Я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта, непрошеная, сидит с вами. Здесь есть фонарь.

Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света.

Пока она это делала, я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Тени, колеблясь, перебежали к лодке. Тогда Фрези Грант захлопнула крышку фонаря, поставила его между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание — большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блестел жемчуг гребней. Кружевное платье, оттенка слоновой кости, с открытыми, гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура.

Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснения. Все перелетело, изменилось во мне, и, хотя чувства правильно отвечали действию, их острота превозмогла всякую мысль. Я слышал стук своего сердца в груди, шее, висках; оно стучало все быстрее и тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх; он рванул и исчез.

— Не бойтесь,— сказала она. Голос ее изменился, он стал мне знаком, и я вспомнил, *когда* слышал его.— Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно,

и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гель-Гью, и, как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами,— кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сениэль, и вы встретите ее, но помните, *что ей нельзя сказать обо мне*. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко.

— Ночь темна,— сказал я, с трудом подпимая взгляд, так как утомился смотреть.— Волны — одни волны кругом!

Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала ее рука.

— Для меня там,— был тихий ответ,— одни волны, и среди них один остров; он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу; я увижу его с рассветом. Прощайте! Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?

— Что мне сказать вам? — ответил я.— Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?

— О,— сказала она печально,— не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.

Пламя свечи сияло; так был резок его блеск, что я снова отвел глаза. Я увидел черные плавники, пересекающие волну, подобно буям; их хищные движения вокруг шлюпки, их беспокойное снование взад и вперед отдавало угрозой.

— Кто это? — сказал я.— Кто эти чудовища вокруг нас?

— Не обращайте внимания и не бойтесь за меня,— ответила она.— Кто бы ни были они в своей жадной надежде, ни тронуть меня, ни повредить мне они больше не могут.

В то время как она говорила это, я поднял глаза.

— Фрези Грант! — вскричал я с тоской, потому что жалость охватила меня.— Назад!..

Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относило волной. Она отступала, полуоборотясь ко мне, и, приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась.

Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь,— совсем как девушка в темной, огромной зале.

И тотчас дьявольские плавники акул или других мертвящих нервы созданий, которые показывались, как прорыв снизу черным резцом, повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрези Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.

Я был один; покачивался среди волн и смотрел на фонарь; свеча его догорала.

Хор мыслей пролетел и утих. Прошло некоторое время, в течение которого я сознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками. Иногда я старался понять, вспомнить — с кем и когда сидела в лодке молодая женщина в кружевном платье.

Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Неясно стал виден простор волн; вдали над ними тронулась светлая лавина востока, устремив яркие копья наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть; теплый ветер боролся со свежестью; наконец утренние лучи согнали призрачный мир рассвета, и начался день.

Теперь не было у меня уже той живой связи с ночной сценой, как в момент действия, и каждая следующая минута несла новое расстояние,— как между поездом и сверкнувшим в его окне прелестным пейзажем, летящим, едва возник, прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько дней, и я только помнил. Впечатление было разорвано собственной своей силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Тогда я не был способен правильно судить о своем состоянии. Оно прошло сложный, трудный путь, неповторимый ни при каком возбуждении мысли. Я был один в шлюпке, греб на юг и, задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, как будто ожидал действительно заметить след маленьких ног Фрези Грант.

Я захотел пить и, так как бочонок для воды оказался пуст, осушил бутылку вина. На этот раз оно не произвело обыкновенного действия. Мое состояние было ни нормально, ни эксцессивно — особое состояние,

которое не с чем сравнить, разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт.

В одиннадцать двадцать утра на горизонте показались косые паруса с кливерами,— стало быть, небольшое судно, шедшее, как указывало положение парусов, к юго-западу, при половинном ветре. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что, взяв под нижний угол к линии его курса, могу встретить его не позднее, чем через тридцать — сорок минут. Судно было изрядно нагружено, шло ровно, с небольшим креном.

Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил. На расстоянии далеко хватающего крика я мог уже различить без бинокля несколько человек, всматривающихся в мою сторону. Один из них смотрел в зрительную трубу, причем схватил за плечо своего соседа, указывая ему на меня движением трубы. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным; лишь начав различать лица, я встрепенулся, поняв свое положение. Судно легло в дрейф, готовясь меня принять; я был от него на расстоянии десяти минут поспешной гребли. Подплывая, я увидел восемь человек, считая женщину, сидевшую на борту боком, держась за ванту, и понял по выражению лиц, что все они крайне изумлены.

Когда между мной и шхуной оказалось расстояние, незатруднительное для разговора, мне не пришлось начать первому. Едва я открыл рот, как с палубы закричали, чтобы я скорее подплывал. После того, среди сочувственных восклицаний на дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я продел его в носовое кольцо.

— Все потонули, кроме вас? — сказал долговязый шкипер, в то время как я ступал на спущенный веревочный трап.

— Сколько дней в море? — спросил матрос.

— Не набрасывайтесь на пищу! — испуганно заявила женщина. Она оказалась молодой девушкой; ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый, голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением.

Я ответил, когда ступил на палубу, причем случайно пошатнулся и был немедленно подхвачен.

— Мой случай — совершенно особый,— сказал я.— Позвольте мне сесть.— Я сел на быстро подставленное опрокинутое ведро.— Куда вы плывете?

— Он не так слаб! — заметил шкипер.

— Мы держим в Гель-Гью,— сообщил одинокий голубой глаз.— Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.

Я осмотрел этих славных людей. Они переживали событие. Лишь спустя некоторое время они освоились с моим присутствием, сильно их волновавшим, и мы начали объясняться.

ГЛАВА XVIII

Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гель-Гью из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финеас Проктор, имел шесть человек команды; шестой из них был помощник Проктора, Нэд Тоббоган, на редкость неразговорчивый человек лет под тридцать, красивый и смуглый. Девушка с завязанным глазом была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Тоббогану, ее признанному жениху; как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Тоббогана обвенчаться с Дэзи в Гель-Гью. Словом, причины ясные и благие. По случаю присутствия женщины, хотя бы и родственницы, Проктор сохранил в кармане жалованье повара, рассчитав его под благовидным предлогом; пищу варила Дэзи. Сказав это, я возвращаюсь к прерванному рассказу.

Пока я объяснялся с командой шхуны, моя шлюпка была подведена к корме, взята на тали и поставлена рядом с шлюпкой «Нырка». Мой багаж уже лежал на палубе, у моих ног. Меж тем паруса взяли ветер, и шхуна пошла своим путем.

— Ну,— сказал Проктор, едва установилось подобие внутреннего равновесия у всех нас,— выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.

— Это история, которая вас удивит,— ответил я после того, как выразил свою благодарность, крепко пожав его руку.— Меня зовут Гарвей. Я плыл туда же,

куда вы плывете теперь, в Гель-Гью, на судне «Бегущая по волнам» под командой капитана Геза и был ссажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры.

В моем положении следовало быть откровенным, не касаясь внутренних сторон дела. Таким образом, все предстало в естественном и простом виде: я сел за плату (не называя цифры, я намекнул, что она была прилична и уплачена своевременно). Я должен был также сочинить цель, с какой пустился в этот рейс, чтобы быть правдивым для наступившего положения. В другом месте и другому человеку мне пришлось рассказать истину, когда я думал, что... Словом, экипаж «Нырка» только изредка набивал трубки, чтобы воодушевленней следить за моим рассказом. Мне поверили, потому что я не скрывал *той* правды, какую ждали они.

У меня (так я объяснил) было желание познакомиться с торговой практикой парусного судна, а также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии. Выдумка имела успех. Проктор, длинный, полуседой человек с спокойным мускулисто-гладким лицом, тотчас сказал:

— Вот это правильная была мысль. Я всегда говорил, что, сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.

Остальное в моем рассказе не требовало искажения, отчего характер Геза, после того как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.

— Его надо было просто убить,— сказал Проктор.— И вы не отвечали бы за это.

— Он не успел...— заметил один матрос.

— Никогда бы я не сошел в шлюпку, только силой,— продолжал Проктор.

— Он был один,— вмешалась стоявшая тут же Дэзи. Платок мешал ей смотреть, и она вертела головкой.— А ты, Тоббоган, разве остался бы насильно?

— Это сказал дядя,— возразил Тоббоган.

— Ну, хотя бы и дядя.

— Что с тобой, Дэзи? — спросил Проктор.— Экая у тебя прыть в чужом деле!

— Вы правильно поступили,— обратилась она ко мне.— Лучше умереть, чем быть избитым и выброшен-

ным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал!

Она взяла из рассеянной руки Проктора бутылку, которую, в увлечении всей этой историей, шкипер держал между колен, и налила половину жестяной кружки, долив водой. Я поблагодарил, заметив, что не болен от изнурения.

— Ну, все-таки,— заметила она критическим тоном, означавшим, что мое положение требует обряда.— И вам будет лучше.

Я выпил сколько мог.

— О, это не по-нашему! — сказал Проктор, опрокидывая остаток в рот.

Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взглядывает на нее Тоббоган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество, из снисхождения научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. Тоббоган был серьезный человек с правильным, мужественным лицом задумчивого склада. Его движения несколько противоречили его внешности; так, например, он делал жесты к себе, а не от себя, и когда сидел, то имел привычку охватывать колени руками. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Четыре матроса «Нырка» были пожилые люди хозяйственного и тихого поведения; в свободное время один из них крошил листовой табак или пришивал к куртке отпоровшийся воротник; другой писал письмо, третий устраивал в широкой бутылке пейзаж из песка и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками. Пятый, моложе их и более живой, чем остальные, часто играл в карты сам с собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Больт. Я все это подметил, так как провел на шхуне три дня, и мой первый день окончился глубоким сном внезапно приступившей усталости. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного

вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа.

Пока я курил и думал, пришел Тоббоган. Он обратился ко мне, сказав, что Проктор просит меня зайти к нему в каюту, если я сносно себя чувствую. Я вышел. Волнение стало заметно сильнее к ночи. Шхуна, прилегая с размаха, поскрипывала на перевалах. Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за Тоббоганом в каюту Проктора. Это было чистое помещение сурового типа и так невелико, что между столом и койкой мог поместиться только мат для вытирания ног. Каюта была основательно прокурена.

Тоббоган вошел со мной; затем он открыл дверь и исчез, надо быть, по своим делам, так как послышался где-то вблизи его разговор с Дэзи. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике: на столе был нарезанный, на опрятной тарелке, копченый язык и стояла бутылка. Шкипер не обманул меня тем, что начал с торговли, сказав: «Не слышали ли вы что-нибудь относительно хлопковых семян?» Затем Проктор перешел к самому интересному: разговору снова о моей истории. Теперь он выражался тщательнее, чем утром, метя, очевидно, на должную оценку с моей стороны.

— Нам надо сговориться,— сказал Проктор,— как действовать против капитана Геза. Я — свидетель; я подобрал вас, и, хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. Как вы говорили, что «Бегущая по волнам» идет в Гель-Гью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, если даже, протрезвясь, струсит. У него нет оснований думать, что вы попадете на мою шхуну. В таком случае надо условиться, что вы дадите мне знать, если разбирательство дела произойдет, когда «Нырок» уже покинет Гель-Гью. Это уголовное дело.

Он стал соображать вслух, рассчитывая дни, и, так как из этого ничего не вышло, потому что трудно предусмотреть случайности, я предложил ему говорить об этом в Гель-Гью.

— Ну, вот, это еще лучше,— сказал Проктор.— Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не сса-

живали по крайней мере — как на сушу — за сто миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гез — конченый человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если мог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы — как новорожденный, и примете морское крещение. Удивляюсь вам,— заметил он, наливая в стаканы.— Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы подымаетесь на «Нырок», как в собственную квартиру! Хорошо иметь крепкие нервы. А то...

Он поставил стакан и пристально посмотрел на меня.

— Слушаю вас,— сказал я.— Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.

— Вы видели девушку,— сказал Проктор.— Конечно, нельзя подумать ничего, за что... Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.

Он не смутился и, как я правильно понял, считал неприятной необходимостью затронуть этот вопрос после истории с компанией Геза. Поэтому я ответил немедленно:

— Славная девушка; она, может быть, ваша дочь?

— Почти что дочь, если она не брыкается,— сказал Проктор.— Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне — это значит править двумя рулями, но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Тоббоган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них; и меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно; с этим ничего не поделаешь.

Я спросил, почему ему не нравится Тоббоган.

— Я сам себя спрашивал,— отвечал Проктор,— и простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных. Но иногда... гм... хочется поговорить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой, а если она скажет: «Тоббоган, влезь на мачту и спустись головой вниз»,— то он это немедленно сделает в любую погоду. По-моему, нужен ей другой муж. Это между прочим, а все пусть идет, как идет,

К тому времени ром в бутылке стал на уровне ярлыка, и оттого казалось, что качка усилилась. Я двигался вместе со стулом и каютой, как на качелях, иногда расставляя ноги, чтобы не свернуться в пустоту. Вдруг дверь открылась, пропустив Дэзи, которая, казалось, упала к нам сквозь наклонившуюся на меня стену, но, поймав рукой стол, остановилась в позе канатоходца. Она была в башмаках, с брошкой на серой блузе и в черной юбке. Ее повязка лежала аккуратнее, ровно зачеркивая левую часть лица.

— Тоббоган просил вам передать,— сказала Дэзи, тотчас же вперяя в меня одинокий голубой глаз,— что он постоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.— Затем она просияла и улыбнулась.

— Вот это хорошо,— ответил Проктор,— а я уж думал, что он ссадит меня, благо есть теперь запасная шлюпка.

— Итак, вы очутились у нас,— молвила Дэзи, смотря на меня с стеснением.— Как подумаешь, чего только не случается в море!

— Случается также,— начал Проктор и, обождав, когда из бесконечного запаса улыбок на лице девушки распустилась новая, выжидательная, закончил: — Случается, что *она* уходит, а *они* остаются.

Дэзи смутилась. Ее улыбка стала исчезать, и я, понимая, как, должно быть, ей любопытно остаться, сказал:

— Если вы имеете в виду только меня, то, кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.

Заметно довольный моим ответом, Проктор сказал:

— Присядь, если хочешь.

Она села у двери в ногах койки и прижала руку к повязке.

— Все еще болит,— сказала Дэзи.— Такая досада! Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.

Нельзя было не спросить, и я спросил, чем поврежден глаз.

— Ей надуло,— ответил за нее Проктор.— Но нет ничего такого вроде лекарства.

— Не верьте ему,— возразила Дэзи.— Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей...

Я недоверчиво улыбнулся.

— Нет,— сказала она,— никто не дрался. Просто от угля, я засорила глаз углем.

Я посоветовал примачивать крепким чаем.

Она подробно расспросила, как это делают.

— Хотя один глаз, но я первая вас увидела,— сказала Дэзи.— Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай,— прибавила она, вставая.— Я пойду и сделаю, как вы научили. Дать вам еще бутылку?

— Н-нет,— сказал Проктор и посмотрел на меня сложно, как бы ожидая повода сказать «да». Я не хотел пить, поэтому промолчал.

— Да, не надо,— сказал Проктор уверенно.— И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего три. Так вот, она первая увидела вас, и, когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.

Разговор еще несколько раз возвращался к моей истории, затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал. Проктор проводил меня в кубрик.

— Мы не можем предложить вам лучшего помещения,— сказал он.— У нас тесно. Потерпите как-нибудь, немного уже осталось плыть до Гель-Гью. Мы будем, думаю я, вечером послезавтра или же к вечеру.

В кубрике было двое матросов. Один спал, другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек. Засыпая, я слышал, как он напевает низким, густым голосом:

Волна бесконечна;
Всю землю обходит она,
Не зная беспечно
Ни неба, ни дна!

ГЛАВА XIX

Утром ветер утих, но оставался попутным, при ясном небе; «Нырок» делал одиннадцать узлов в час на ровной килевой качке. Я встал с тихой душой и, умываясь на палубе из ведра, чувствовал запах моря. Вы-

супувшись из кормового люка, Тоббоган махнул рукой, крикнув:

— Идите сюда, ваш кофе готов!

Я оделся и, проходя мимо кухни, увидел Дэзи, которая, засучив рукава, жарила рыбу. Повязка отсутствовала, а от опухоли, как она сообщила, осталось легкое утолщение внутри нижнего века.

— Я вся отсырела,— сказала Дэзи,— так я усердно лечилась чаем!

Выразив удовольствие, что случайно дал полезный совет, я спустился в небольшую каюту с маленьким окном в стене кормы, служившую столовой, и сел на скамью к деревянному простому столу, где уже сидел Тоббоган. Он смотрел на меня с приязнью и несколько раз откашлялся, но не находил слов или не считал нужным говорить, а потому молчал, изредка оглядываясь. По-видимому, он ждал рыбу или невесту — вернее, то и другое. Я спросил, что делает Проктор. «Он спит»,— сказал Тоббоган; затем начал сгребать крошки со стола ребром ладони и оглянулся опять, так как послышалось шипение. Дэзи внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой. Неожиданно Тоббоган обрел дар слова. Он стал хвалить рыбу и спросил, почему девушка босиком.

— В прошлый раз она наступила на гвоздь,— сказал Тоббоган, подвигая мне сковороду и начиная есть сам.— Она, знаете, неосторожна; как-то чуть не упала за борт.

— Мне нравится ходить босиком,— отвечала Дэзи, наливая нам кофе в толстые стеклянные стаканы; потом села и продолжала: — Мы плыли по месту, где пять миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это глубоко...

— К северу от Покета,— сказал Тоббоган.

— Вот именно, там. Вдруг закружилась голова, и я повисла; меня тянет упасть. Тоббоган зверски схватил меня и поволок, как канат. Ты был очень бледен, Тоббоган, в эту минуту!

Он посмотрел на нее; голод здоровяка и нежность влюбленного образовали на его лице нервную тень.

— Упасть недолго,— сказал он.

— Вам было страшно на лодке? — спросила меня девушка, постукивая ножом.

— Положи нож,— сказал с беспокойством Тоббоган.— Если упадет на ногу, будешь опять скакать на одной ноге.

— Ты несносен сегодня,— заметила Дэзи, улыбаясь и демонстративно втыкая нож возле его локтя. Воткнувшись, нож задрожал, как бы стремясь вырваться.— Вот так ты трепещешь! У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.

Я пообещал, думая, что разыщу подходящее для нее чтение. «Кроме того,— сказал я, желая сделать приятное человеку, заметившему меня среди моря одним глазом,— я ожидаю в Гель-Гью присылки книг, и вы сможете взять несколько новых романов». На самом деле я солгал, рассчитывая купить ей несколько томов по своему выбору.

Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Это у нее вышло удачно: в каюте разлился голубой свет. Тоббоган стал смущенно благодарить, и я видел, что он искренне рад невинному удовольствию девушки.

ГЛАВА XX

День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале; при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, забывая о часах, видишь, что подан обед, а там набегает ночь. После обеда, то есть картофеля с солониной, компота и кофе, я увидел карты и предложил Тоббогану сыграть в покер. У меня была цель: отдать десять — двадцать фунтов, но так, чтобы это считалось выигрышем. Эти люди, конечно, отказались бы взять деньги, я же не хотел уйти, не оставив им некоторую сумму из чувства благодарности. По случайным, отдельным словам можно было догадаться, что дела Проктора не блестящи.

Когда я сделал такое предложение, Дэзи превратилась в вопросительный знак, а Проктор, взяв карты, отбросил их со вздохом и заявил:

— Эта проклятая картонная шайка дорого стоила мне в свое время, а потому дал я клятву и сдержу ее — не играть даже впустую.

Меж тем Тоббоган согласился сыграть — из вежливости, как я думал, но когда оба мы выложили на стол по нескольку золотых, его глаза выдали игрока.

— Играйте,— сказала Дэзи, упирая в стол белые локти с ямочками и положив меж ладоней лицо,— а я буду смотреть.— Так просидела она, затаив дыхание или разражаясь смехом при проигрыше одного из нас, все время. Как прикованный, сидел Проктор, забывая о своей трубке; лишь по его нервному дыханию можно было судить, что старая игрецкая жила ходит в нем подобно тугой лесе. Наконец он ушел, так как били его вахтенные часы.

Таким образом, я погрузился в бой, обнажив грудь и сломав конец своей шпаги. Я мог безнаказанно мошенничать против себя, потому что идея нарочитого проигрыша меньше всего могла прийти в голову Тоббогану. Когда играют двое, покер весьма часто дает крупные комбинации. Мне ничего не стоило бросать свои карты, заявляя, что проиграл, если Тоббоган объявлял значительную для него сумму. Иногда, если мои карты действительно оказывались слабее, я открывал их, чтоб не возникло подозрений. Мы начали играть с мелочи. Тут Тоббоган оказался словоохотлив. Он смеялся, разговаривал сам с собой; выигрывая, критиковал мою тактику. По моей милости ему везло, отчего он приходил во все большее возбуждение. Уже восемнадцать фунтов лежало перед ним, и я соразмерял обстоятельства, чтобы устроить ровно двадцать. Как вдруг, при новой моей сдаче, он сбросил все карты, прикупил новых пять и объявил двадцать фунтов.

Как ни была крупна его карта или просто решимость пугнуть, случилось, что моя сдача себе составила пять червей необыкновенной красоты: десятка, валет, дама, король и туз. С этакой-то картой я должен был платить ему свой собственный по существу выигрыш!

— Идет,— сказал я.— Открывайте карты.

Трясущейся рукой Тоббоган выложил каре и посмотрел на меня, ослепленный удачей. Каково было бы ему видеть моих червей! Я бросил карты вверх крапом и подвинул ему горсть золотых монет.

— Здорово я вас обчистил! — вскричал Тоббоган, сжимая деньги.

Случайно взглянув на Дэзи, я увидел, что она смешивает брошенные мной карты с остальной колодой. С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась.

— Что у него было? — спросил Тоббоган.

— Три дамы, две девятки,— сказала девушка.— Сколько ты выиграл, Тоббоган?

— Тридцать восемь фунтов,— сказал Тоббоган, хохоча.— А ведь я думал, что у вас тоже каре!

— Верни деньги.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать,— ответил Тоббоган.— Но, если вы желаете...

— Мое желание совершенно обратное,— сказал я.— Дэзи не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит, и мне.

— Вот видишь,— заметил Тоббоган с облегчением,— а потому удержи язык.

Дэзи загадочно рассмеялась.

— Вы плохо играете,— с сердцем объявила она, смотря на меня трогательно гневным взглядом, на что я мог только сказать:

— Простите, в следующий раз сыграю лучше.

Должно быть, мой ответ был для нее очень забавен, так как теперь она уже искренне и звонко расхохоталась. Шутливо, но так, что можно было понять, о чем прошу, я сказал:

— Не говорите никому, Дэзи, как я плохо играю, потому что, говорят, если сказать — всю жизнь игрок будет только платить.

Ничего не понимая, Тоббоган, все еще в огне выигрыша, сказал:

— Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно!

— Так и быть,— ответила девушка,— скажу всем то же и я.

Я был чрезвычайно смущен, хотя скрывал это, и ушел под предлогом выбора для Дэзи книги. Разыскав два романа, я передал их матросу с просьбой отнести девушке.

Остаток дня я провел наверху, сидя среди канатов.

Около кухни появлялась и исчезала Дэзи; она стирала.

«Нырок» шел теперь при среднем ветре и умеренной качке. Я сидел и смотрел на море.

Кто сказал, что «море без берегов — скучное, однообразное зрелище»? Это сказал *многий*, лишенный имени. Нет берегов — правда, но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Строгая чистота круга, полного одних волн, подробно ясных вблизи; на отдалении они скрываются одна за другой; на горизонте же лишь едва трогают отчетливую линию неба, как если смотреть туда в неправильное стекло. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую, постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.

Услышав шаги, я обернулся и увидел Дэзи, подходившую ко мне с стесненным лицом, но она тотчас же улыбнулась и, пристально всмотревшись в меня, села на канат.

— Нам надо поговорить,— сказала Дэзи, опустив руку в карман передника.

Хотя я догадывался, в чем дело, однако притворился, что не понимаю. Я спросил:

— Что-нибудь серьезное?

Она взяла мою руку, вспыхнула и сунула в нее — так быстро, что я не успел сообразить ее намерение,— тяжелый сверток. Я развернул его. Это были деньги — те тридцать восемь фунтов, которые я проиграл Тоббогану. Дэзи вскочила и хотела убежать, но я ее удержал. Я чувствовал себя весьма глупо и хотел, чтобы она успокоилась.

— Вот это весь разговор,— сказала она, покорно возвращаясь на свой канат. В ее глазах блестели слезы смущения, на которое она досадовала сама.— Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Вы мне испортили весь день. Прежде всего, как я могла объяснить Тоббогану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует возвратить.

— Милая Дэзи,— сказал я, тронутый ее гордостью,— если я виноват, то, конечно, только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то

есть не было бы доказательства, как бы вы тогда отнеслись?

— Никак, разумеется; проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы очень огорчена. Вы думаете — я не понимаю, что вы хотели? Оттого, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы делать вам выговор. Теперь поняли?

— Отлично понял. Как вам понравились книги?

Она помолчала, еще не в силах сразу перейти на мирные рельсы.

— Заглавия интересные. Я посмотрела только заглавия — все было некогда. Вечером сяду и почитаю. Вы меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.

— Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.

— Тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор...

— Говорите сейчас, иначе вы раздумаете.

— Нет, это я не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю: угадала или не угадала? При случае поговорим. Надо вас покормить, а у меня еще не готово, приходите через полчаса.

Она поднялась, кивнула и поспешила к себе на кухню или еще в другое место, связанное с ее деловым днем.

Сцена эта заставила меня устыдиться; девушка показала себя настоящей хозяйкой, тогда как, надо признаться, я вознамерился сыграть роль хозяина. Но что она хотела *еще* подвергнуть обсуждению? Я мало думал и скоро забыл об этом; как стемнело, все сели ужинать, по случаю духоты, наверху, перед кухней. Тоббоган встретил меня немного сухо, но, так как о происшествии с картами все молчаливо условились не поднимать разговора, то скоро отошел; лишь иногда взглядывал на меня задумчиво, как бы говоря: «Она права, но от денег трудно отказаться, черт побери». Проктор, однако, обращался ко мне с усиленным радушием, и если он знал что-нибудь от Дэзи, то ему был, верно, приятен ее поступок; он на что-то хотел намекнуть, сказав: «Человек предполагает, а Дэзи

располагает!» Так как в это время люди ели, а девушка убирала и подавала, то один матрос заметил:

— Я предполагал бы, понимаете, съесть индейку. А она расположила солонину.

— Молчи,— ответил другой,— завтра я поведу тебя в ресторан.

На «Нырке» питались однообразно, как питаются вообще на небольших парусниках, которым за десять — двадцать дней плавания негде достать свежей провизии и негде хранить ее. Консервы, солонина, макароны, компот и кофе — больше есть было нечего, но все поглощалось огромными порциями. В знак душевного мира, а может быть, и различных надежд, какие чаще бывают мухами, чем пчелами, Проктор налил всем по стакану рома. Солнце давно село. Нам светила керосиновая лампа, поставленная на крыше кухни.

Баковый матрос закричал:

— Слева огонь!

Проктор пошел к рулю. Я увидел впереди «Нырка» многочисленные огни огромного парохода. Он прошел так близко, что слышен был стук винтового вала. В пространствах под палубами, среди света, сидели и расхаживали пассажиры. Эта трехтрубная высокая громада, когда мы разминулись с ней, отошла, поворотившись кормой, усеянной огненными отверстиями, и рассекала колеблющуюся, озаренную пелену пены.

«Нырок» сделал маневр, отчего при парусах заняты были все, а я и Дэзи стояли, наблюдая удаление парохода.

— Вам следовало бы попасть на такой пароход,— сказала девушка.— Там так отлично. Все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка.

— Вы любите танцы?

— Люблю конфеты и танцы.

В это время подошел Тоббоган и встал сзади, засунув руки в карманы.

— Лучше бы ты научила меня,— сказал он,— как танцевать.

— Это ты так *теперь* говоришь. Ты не можешь: уже я учила тебя.

— Не знаю отчего,— согласился Тоббоган,— но когда держу девушку за талию, а музыка вдруг раздаст-

ся, ноги делаются точно мешки. Стою — ни взад ни вперед.

Постепенно собрались опять все, но ужин был кончен, и разговор начался о пароходе, в котором Проктор узнал «Лео».

— Он из Австралии; это рейсовый пароход Тихоокеанской компании. В нем двадцать тысяч тонн.

— Я говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас,— сказала Дэзи.

— Я рад, что попал к вам,— возразил я,— хотя бы уж потому, что мне с тем пароходом не по пути.

Проктор рассказал случай, когда пароход не остановился принять с шлюпки потерпевших крушение. Отсюда пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Создалось словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути.

Но, как ни искушены были эти моряки в историях о плавающих бутылках, встречаемых ночью ледяных горах, бунтах экипажей и потрясающих шквалах, я увидел, что им неизвестна история «Марии Целесты», а также пятимесячное блуждание в шлюпке шести человек, о котором писал М. Твен, положив тем начало своей известности.

Как только я кончил говорить о «Целесте», богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками. Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать.

— Но может ли быть,— говорила она,— что это произошло так...

— Люди думали пятьдесят лет,— возражал Проктор, но кто бы ни возражал, в ответ слышалось одно:

— Не перебивайте меня! Вы понимаете: обед стоял на столе, в кухне топилась плита! Я говорю, что на них напала болезнь! Или, может быть, не болезнь, а они увидели мираж! Красивый берег, остров или снежные горы! Они поехали на него все...

— А дети? — сказал Проктор.— Разве не оставила бы ты детей да при них, скажем, ну, хотя двух матросов?

— Ну что же! — Она не смущалась ничем.— Дети хотели больше всего. Пусть мне объяснят в таком случае!

Она сидела, подобрав ноги, и, упираясь руками в палубу, ползала от возбуждения взад-вперед.

— Раз ничего не известно, понимаешь? — ответил Тоббоган.

— Если не чума и мираж,— объявила Дэзи без малейшего смущения,— значит, в подводной части была дыра. Ну да, вы заткнули ее языком; хорошо. Представьте, что они хотели сделать загадку...

Среди ее бесчисленных версий, которыми она сыпала без конца, так что я многие позабыл, слова о «загадке» показались мне интересны; я попросил объяснить.

— Понимаете — они ушли,— сказала Дэзи, махнув рукой, чтобы показать, как ушли,— а зачем это было нужно, вы видите по себе. Как вы ни думаете, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете. Так вот: они сделали это нарочно. Среди них, верно, был такой человек, который, может быть, любил придумывать штуки. Это — капитан. «Пусть о нас останется память, легенда, и никогда чтобы ее не объяснить никому!» Так он сказал. По пути попалось им судно. Они сговорились с ним, чтобы пересесть на него, и пересели, а свое бросили.

— А дальше? — сказал я после того, как все уставились на девушку, ничего не понимая.

— Дальше не знаю.— Она засмеялась с усталым видом, вдруг остыв, и слегка хлопнула себя по щекам, наивно раскрыв рот.

— Все знала, а теперь вдруг забыла,— сказал Проктор.— Никто тебя не понял, что ты хотела сказать.

— Мне все равно,— объявила Дэзи.— Но вы — поняли?

Я сказал «да» и прибавил:

— Случай этот так поразителен, что всякое объяснение, как бы оно ни было правдоподобно, остается бездоказательным.

— Темная история,— сказал Проктор.— Слышал я много басен, да и теперь еще люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрези Грант?

— Нет,— сказал я, вздрогнув от неожиданности.

— Нет?

— Нет? — подхватила Дэзи тоном выше.— Давайте расскажем Гарвею о Фрези Грант. Ну, Больт,— обра-

тилась она к матросу, стоявшему у борта,— это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказать, как ты, историю Фрези Грант. Сколько раз ты ее рассказывал?

— Тысячу пятьсот два,— сказал Больт, крепкий человек с черными глазами и ироническим ртом, спрятанным в курчавой бороде скифа.

— Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, мы сидим в обществе, в гостиной, у нас гости. Смотри отличись.

Пока длилось это вступление, я заставил себя слушать, как посторонний, не знающий ничего.

Больт сел на складной стул. У него были приемы рассказчика, который ценит себя. Он прочесал бороду пятерней вверх, открыл рот, слегка свесив язык, обвел всех присутствующих взглядом, провел огромной ладонью по лицу вниз, крякнул и подсел ближе.

— Лет сто пятьдесят назад,— сказал Больт,— из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант, и с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Надо вам сказать, что Фрези была обручена с одним джентльменом, который года два уже служил в Индии и занимал важную должность. Какая была должность — стоит ли говорить? Если вы скажете — «стоит», вы проиграли. Надо вам сказать, что когда я раньше излагал эту знаменательную историю, Дэзи всячески старалась узнать, в какой должности был жених-джентльмен, и если не спрашивает теперь...

— То тебе нет до того никакого дела,— перебила Дэзи.— Если забыл, что дальше, спроси меня, я тебе расскажу.

— Хорошо,— сказал Больт.— Обращаю внимание на то, что она сердится. Как бы то ни было, «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Шла она с быстротой бельевого катка. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают не бестолковые моряки, которые никогда не видали вала высотой метров сто. Однако ничего не случилось. «Адмирал Фосс» пополз вверх, стал на высоте колокольни святого Петра и пошел вниз так, что, когда опустился, быстрота

его хода была тридцать миль в час. Само собою, что паруса успели убрать, иначе встречный, от движения, ветер перевернул бы фрегат волчком.

Волна прошла, ушла, и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; по пути «Фосса» не мог быть на этой широте остров. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нем не заметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты.

Капитан тотчас записал в корабельный журнал, что произошло, но к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов, а по берегу — отвес, без бухты и отмели. В то время как на мостике собралась толпа и толковала с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к острову — посмотреть, какая это земля. «Мисс,— сказал капитан,— я могу открыть Новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать, а так как возникло опасение быть застигнутыми штилем, то надобно спешить нам к югу, где есть воздушное течение».

Фрези Грант, хотя была доброй девушкой,— вот, скажем, как наша Дэзи... Обратите внимание, джентльмены, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрези. Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей.

— Слушайте! Слушайте! — вскричала Дэзи, подпирая подбородок рукой и расширяя глаза.— Сейчас начинается!

— Совершенно верно, Дэзи,— сказал Больт, обкусывая свой грязный ноготь.— Вот оно и началось, как это бывает у барышень. Иначе говоря, Фрези стояла, закусив губу. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки,— сказал он,— что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-ваше-

му, сэр,— сказала она.— Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру». И вот, прежде чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, побледнела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрези.— Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!»

Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэзи, возьми платок и вытри глаза.

— Всегда плачу, когда доходит до этого места,— сказала Дэзи, сердито сморкаясь в вытащенный ею из кармана Тоббогана платок.

— Вот и вся история,— закончил Больт.— Что было на корабле потом, конечно, не интересно, а с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение, между прочим; и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.

Больт не подозревал, что у него не было никогда такого внимательного слушателя, как я. Но это заметила Дэзи и сказала:

— Вы слушали, как кошка мышь. Не встретили ли вы ее, бедную Фрези Грант? Признайтесь!

Как ни был шутлив вопрос, все моряки немедленно повернули головы и стали смотреть мне в рот.

— Если это была та девушка,— сказал я естественно, не рискуя ничем,— девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете, то, значит, это она и была.

— Однако! — воскликнул Проктор.— Что, Дэзи, вот тебе задача.

— Именно так она и была одета,— сказал Больт.— Вы раньше слышали эту сказку?

— Нет, я не слышал ее,— сказал я, охваченный порывом встать и уйти.— Но мне почему-то казалось, что это так.

На этом разговор кончился, и все разошлись. Я долго не мог заснуть: лежа в кубрике, прислушиваясь к плеску воды и храпу матросов, я уснул около четырех, когда вахта сменилась. В это утро все проспали несколько дольше, чем всегда. День прошел без происшествий, которые стоило бы отметить в их полном развитии. Мы шли при отличном ветре, так что Больт сказал мне:

— Мы решили, что вы нам принесли счастье. Честное слово. Еще не было за весь год такого ровного рейса.

С утра уже овладело мной нетерпение быть на берегу. Я знал, что этот день — последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней, как всегда бывает в конце пути. Кому не знаком зуд в спине? Чувство быстроты в неподвижных ногах? Расстояние получает враждебный оттенок. Существо наше усиливается придать скорость кораблю; мысль, множество раз побывав на воображаемом берегу, должна неохотно возвращаться в медлительно ползущее тело. Солнце всячески уклоняется подняться к зениту, а достигнув его, начинает опускаться со скоростью человека, старательно метущего лестницу.

После обеда, то уходя на палубу, то в кубрик, я увидел Дэзи, вышедшую из кухни вылить ведро с водой за борт.

— Вот, вы мне нужны,— сказала она, застенчиво улыбаясь, а затем стала серьезной.— Зайдите в кухню, как я выплю это ведро, у борта нам говорить неудобно, хотя, кроме глупостей, вы от меня ничего не услышите. Мы ведь не договорили вчера. Тоббоган не любит, когда я разговариваю с мужчинами, а он стоит у руля и делает вид, что закуривает.

Согласившись, я посидел на трюме, затем прошел в кухню за крылом паруса.

Дэзи сидела на табурете и сказала: «Сядьте», причем хлопнула по коленям руками. Я сел на бочонок и приготовился слушать.

— Хотя это невежливо,— сказала девушка,— но меня почему-то заботит, что я не все знаю. Не все вы рассказали нам о себе. Я вчера думала. Знаете, есть

что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном умолчали. А что это такое — *одно?* С вами в море что-то случилось. Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?

— О том, что вы не договорили вчера?

— Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно никакого. Так вы и не отвечайте тогда.

— Дэзи,— сказал я, доверяясь ее наивному любопытству, обнаружить которое она могла, конечно, только по невозможности его укоротить, а также — ее проницательности,— вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что я не мог бы сказать так, сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, и сделаю это в Гель-Гью.

— Вас испугало что-нибудь?— сказала Дэзи и, помолчав, прибавила: — Не сердитесь на меня. На меня иногда *находит,* так что все поражаются; я вот все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память как о любопытной девчонке.

Я был тронут. Она подала мне обе руки, встряхнула мои и сказала:

— Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?

— А вы как думаете?

— Никак. Судно маленькое, довольно грязное, и никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?

— Чтобы у вас стали круглые глаза,— смеясь, ответил я ей.— Дэзи, есть у вас отец, мать?

— Были, конечно, как у всякого порядочного человека. Отца звали Ричард Бенсон. Он пропал без вести в Красном море. А моя мать простудилась насмерть лет пять назад. Зато у меня хороший дядя; кисловат, правда, но за меня пойдет в огонь и воду. У него нет больше племяшей. А вы верите, что была Фрези Грант?

— А вы?

— Это мне нравится! Вы, вы, вы! — верите или нет?! Я безусловно верю и скажу почему.

— Я думаю, что это могло быть,— сказал я.

— Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: «Да, человека не понимают».

— Кто не понимает?

— Все. И он сам не понимает себя.

Разговор был прерван появлением матроса, пришедшего за огнем для трубки. «Скоро ваш отдых»,— сказал он мне и стал копаться в углях. Я вышел, заметив, как пристально смотрела на меня девушка, когда я уходил. Что это было? Отчего так занимала ее история, одна половина которой лежала в тени дня, а другая — в свете ночи?

Перед прибытием в Гель-Гью я сидел с матросами и узнал от них, что никто из моих спасителей ранее в этом городе не был. В судьбе малых судов типа «Нырка» случаются одиссеи в тысячу и даже в две и три тысячи миль,— выход в большой свет. Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна». Проктор был владельцем «Нырка» и половины шхуны «Химена». После ареста капитана он сел править «Нырком» и взял фрахт в Гель-Гью, не смущаясь расстоянием, так как хотел поправить свои денежные обстоятельства.

ГЛАВА XXI

В десять часов вечера показался маячный огонь; мы подходили к Гель-Гью.

Я стоял у штирборта с Проктором и Больтом, наблюдая странное явление. По мере того как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман — обширный световой слой. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для сравнительно небольшого Гель-Гью, о котором я слышал, что в нем пятьдесят тысяч жителей. За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но не рассмотрел ничего, кроме построек на мысе, и высказал предположение, не есть ли это отсвет большого пожара.

— Однако нет дыма,— сказала подошедшая Дэзи.— Вы видите, что свет чист; он почти прозрачен.

В тишине вечера я начал различать звук, неопределенный, как бормотание; звук с припевом, с гулом

труб, и я вдруг понял, что это музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как послышались далекие выстрелы, на что все тотчас обратили внимание.

— Стреляют и играют! — сказал Больт.— Стреляют довольно бойко.

В это время мы начали проходить маяк.

— Скоро узнаем, что оно значит,— сказал Проктор, отправляясь к рулю, чтобы ввести судно на рейд. Он сменил Тоббогана, который немедленно подошел к нам, тоже выражая удивление относительно яркого света и стрельбы.

Судно сделало поворот, причем паруса заслонили открывшуюся гавань. Все мы поспешили на бак, ничего не понимая, так были удивлены и восхищены развернувшимся зрелищем, острым и прекрасным во тьме, полной звезд.

Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. В воздухе висела яркая золотая сеть; сверкающие гирлянды, созвездия, огненные розы и шары электрических фонарей были, как крупный жемчуг среди золотых украшений. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Корабли рейда сияли, осыпанные белыми лучистыми точками. На барке, черной внизу, с освещенной, как при пожаре, палубой, вертелось, рассыпая искры, огненное алмазное колесо, и несколько ракет выбежали из-за крыш на черное небо, где, медленно завернув вниз, потухли, выронив зеленые и голубые падучие звезды. В то же время стала явственно слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один лишь стук барабана, а потом отпуская снова, и она отчетливо раздавалась по воде,— то, что называется «играет в ушах». Играл не один оркестр, а два, три, может быть, больше, так как иногда наступало толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. С шлюпок звенели гитары, были слышны смех и крики.

— Вот так Гель-Гью,— сказал Тоббоган.— Какая нам, можно сказать, встреча!

Береговой отсвет был так силен, что я видел лицо Дэзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть увидеть всюду: едва ли замечала,

с кем говорит, и была так возбуждена, что болтала, не переставая.

— Я никогда не видала таких вещей,— говорила она.— Как бы это узнать? Впрочем... О! О! О! Смотрите, еще ракета! И там! А вот сразу две. Три! Четвертая! Ура! — вдруг закричала она, засмеялась, утерла влажные глаза и села с окаменелым лицом.

Фок упал. Мы подошли с приспущенным гротом, и «Нырок» бросил якорь вблизи железного буя, в кольцо которого был поспешно продет кормовой канат. Я бродил среди суматохи, встречая иногда Дэзи, которая появлялась у всех бортов, жадно оглядывая сверкающий рейд.

Все мы были в несколько приподнятом, припадочном состоянии.

— Сейчас решили,— сказала Дэзи, сталкиваясь со мной.— Все едем; останется один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть скорей на берег?

— Само собой!

— Ничего другого не остается,— сказал Проктор.— Конечно, все поедем немедленно. Если приходишь на темный рейд и слышишь, что бьет три склянки, ясно — торопиться некуда, но в таком деле и я играю ногами.

— Я умираю от любопытства! Я иду одеваться! А! О! — Дэзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту.— Кричите им! Давайте кричать! Эй! Эй! Эй!

Это относилось к большому катеру, на корме и носу которого развевались флаги, а борты и тент были увешаны цветными фонариками.

— Эй, на катере! — крикнул Больт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там веселой компанией, перестали грести.— Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать!

Катер подошел к «Нырку»; на нем кричали и хохотали.

Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло, мы ясно видели их, они — нас.

— Да это карнавал! —сказал я, отвечая возгласам Дэзи.—Они в масках; вы видите, что женщины в масках!

Действительно, часть мужчин представляла театральное сборище индейцев, маркизов, шутов; на женщинах были шелковые и атласные костюмы различных

национальностей. Их полумаски, лукавые маленькие подбородки и обнаженные руки несли веселую маскарадную жуть.

На шлюпке встал человек, одетый в красный камзол с серебряными пуговицами и высокую шляпу, украшенную зеленым пером.

— Джентльмены! — сказал он, неистово скрежеща зубами, и, показав нож, потряс им.— Как смеете вы явиться сюда, подобно грязным трубочистам к ослепительным булочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно! Что вы хотите от нас?

— Скажите,— крикнула, смеясь и смущаясь, Дэзи,— почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?

— Дети, откуда вы? — печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубыми помпонами.

— Мы из Риоля,— ответил Проктор.— Соблаговолите сказать что-либо дельное.

— Они действительно ничего не знают! — закричала женщина в полумаске.— У нас карнавал, понимаете! Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите!

— Карнавал! — тихо и торжественно произнесла Дэзи.— Господи, прости и помилуй!

— Это карнавал, джентльмены,— повторил красный камзол. Он был в экстазе.— Нигде нет; только у нас, по случаю столетия основания города. Поняли? Девушка недурна. Давайте ее сюда, она споет и станцует. Бедняжка, как пылают ее глазенки! А что, вы не украли ее? Я вижу, что она намерена прокатиться.

— Нет, нет! — закричала Дэзи.

— Жаль, что нас разъединяет вода,— сказал Тобоган,— я бы показал вам новую красивую маску.

— Вы что же, не понимаете карнавальных шуток? — спросил пьяный толстяк.— Ведь это шутка!

— Я... я... понимаю карнавальные шутки,—ответил Тоббоган нетвердо, после некоторого молчания,— но я понимаю еще, что слышал такие вещи без всякого карнавала или как там оно называется.

— От души вас жалеем! — закричали женщины.— Так вы присматривайте за своей душечкой!

— На память! — вскричал красный камзол. Он размахнулся, и серпантинная лента длинной спиралью

опустилась на руку Дэзи, схватившей ее с восторгом. Она повернулась, сжав в кулаке ленту, и залилась смехом.

Меж тем компания на шлюпке удалилась, осыпая нас причудливыми шуточными проклятиями и советуя поспешить на берег.

— Вот какое дело! — сказал Проктор, скребя лоб. Дэзи уже не было с нами.

— Конечно. Пошла одеваться,— заметил Больт.— А вы, Тоббоган?

— Я тоже поеду,— медленно сказал Тоббоган, размышляя о чем-то.— Надо ехать. Должно быть, весело; а уж ей будет совсем хорошо.

— Отправляйтесь,— решил Проктор,— а я с ребятами тоже посижу в баре. Надеюсь, вы с нами? Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на «Нырке», если хотите.

— Если будет надобность,— ответил я, не зная еще, что может быть,— я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я оставлю пока у вас.

— Располагайтесь как дома,— сказал Проктор.— Места хватит.

После того все весело и с нетерпением разошлись одеваться. Я понимал, что неожиданно создавшееся, после многих дней затерянного пути в океане, торжественное настроение ночного праздника требовало выхода, а потому не удивился единогласию этой поездки. Я видел карнавал в Риме и Ницце, но карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана, интересовал и меня. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, память о которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением мыслей.

Мне пришлось собираться среди матросов, а потому мы взаимно мешали друг другу. В тесном кубрике среди раскрытых сундуков едва было где повернуться. Больт взял взаймы у Перлина, Чеккер — у Смита. Они считали деньги и брились наспех, пеня лицо куском мыла. Кто зашнуровывал ботинки, кто считал деньги. Больт поздравил меня с прибытием, и я, отозвав его, дал ему пять золотых на всех. Он сжал мою руку, подмигнул, обещал удивить товарищей громким заказом в гостинице и лишь после того открыть, в чем секрет.

Напутствуемый пожеланиями веселой ночи, я вышел на палубу, где застал Дэзи в новом кисейном платье и кружевном золотисто-сером платке, под руку с Тоббоганом, на котором мешковато сидел синий костюм с малиновым галстуком; между тем его правильному загорелому лицу так шел раскрытый ворот просмоленной парусиновой блузы. Фуражка с ремнем и золотым якорем окончательно противоречила галстуку, но он так счастливо улыбался, что мне не следовало ничего замечать. Гремя каблуками, выполз из каюты и Проктор; старик остался верен своей поношенной чесучовой куртке и голубому платку вокруг шеи; только его белая фуражка с черным прямым козырьком дышала свежестью материнской заботы Дэзи.

Дэзи волновалась, что я заметил по ее стесненному вздоху, с каким оправила она рукав, и нетвердой улыбке. Глаза ее блестели. Она была не совсем уверена, что все хорошо на ней. Я сказал:

— Ваше платье очень красиво.

Она засмеялась и кокетливо перекинула платок ближе к тонким бровям.

— Действительно вы так думаете? — спросила она.— А знаете, я его шила сама.

— Она все шьет сама,— сказал Тоббоган.

— Если, как хвастается, будет ему женой, то...— Проктор договорил странно: — такую жену никто не выдумает, она родилась сама.

— Пошли, пошли! — закричала Дэзи, счастливо оглядываясь на подошедших матросов.— Вы зачем долго копались?

— Просим прощения, Дэзи,— сказал Больт.— Спрыскивались духами и запасались сувенирами для здешних барышень.

— Все врешь,— сказала она.— Я знаю, что ты женат. А вы — что́ вы будете делать в городе?

— Я буду ходить в толпе, смотреть; зайду поужинать и — или найду пристанище, или вернусь ночевать на «Нырок».

В то время матросы попрыгали в шлюпку, стоявшую на воде у кормы. Шлюпка «Бегущей» была подвешена к талям, и Дэзи стукнула по ней рукой, сказав:

— Ваша берлога, в которой вы разъезжали. Как думаешь,— обратилась она к Проктору,— могло уже явиться сюда это судно, «Бегущая по волнам»?

— Уверен, что Гез здесь,— ответил Проктор на ее вопрос мне.— Завтра, я думаю, вы займетесь этим делом, и вы можете рассчитывать на меня.

Я сам ожидал встречи с Гезом и не раз думал, как это произойдет, но я знал также, что случай имеет теперь иное значение, чем простое уголовное преследование. Поэтому, благодаря Проктора за его сочувствие и за справедливый гнев, я не намеревался ни торопиться, ни заявлять о своем рвении.

— Сегодня не день дел,— сказал я,— а завтра я все обдумаю.

Наконец мы уселись; толчки весел, понесших нас прочь от «Нырка» с его одиноким мачтовым фонарем, ввели наше внутреннее нетерпеливое движение в круг общего движения ночи. Среди теней волн плескался, рассыпаясь подводными искрами, блеск огней. Огненные извивы струились от набережной к тьме, и музыка стала слышна, как в зале. Мы встретили несколько богато разукрашенных шлюпок и паровых катеров, казавшихся веселыми призраками: так ярко были они озарены среди сумеречной волны. Иногда нас окликали хором, так что нельзя было разобрать слов, но я понимал, что катающиеся бранят нас за мрачность нашей поездки. Мы проехали мимо парохода, превращенного в люстру, и стали приближаться к набережной. Там шла, бежала и перебегала толпа. Среди яркого света увидел я восемь лошадей в султанах из перьев, кативших огромное сооружение из башенок и ковров, увитое апельсинным цветом. На платформе этого сооружения плясали люди в зеленых цилиндрах и оранжевых сюртуках; вместо лиц были комические, толстощекие маски и чудовищные очки. Там же вертелись дамы в коротких голубых юбках и полумасках; они, махая длинными шарфами, отплясывали, подбоченясь, весьма лихо. Вокруг несли факелы.

— Что они делают? — вскричала Дэзи.— Это кто же такие?

Я объяснил ей, что такое маскарадные выезды и как их устраивают на юге Европы. Тоббоган задумчиво произнес:

— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган,— живо отозвалась девушка.— Это праздник. Людям нужен праздник хоть

изредка. Это ведь хорошо — праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег, я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство.

— Может быть,— рассеянно сказала Дэзи.— Я не буду спорить, только мы тогда, после двадцати шести дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди!

— Держи к лестнице! — закричал Проктор матросу.— Убирай весла!

Шлюпка подошла к намеченному месту — каменной лестнице, спускающейся к квадратной площадке, и была привязана к кольцу, ввинченному в плиту. Все повысыпали наверх. Проктор запер вокруг весел цепь, повесил замок, и мы разделились. Как раз неподалеку была гостиница.

— Вот мы пока и пришли,— сказал Проктор, отходя с матросами,— а вы решайте, как быть с дамой, нам с вами не по пути.

— До свидания, Дэзи,— сказал я танцующей от нетерпения девушке.

— А...— начала она и посмотрела мельком на Тоббогана.

— Желаю вам веселиться,— сказал моряк.— Ну, Дэзи, идем.

Она оглянулась на меня, помахала поднятой вверх рукой, и я почти сразу потерял их из виду в проносящейся ураганом толпе, затем осмотрелся, с волнением ожидания и с именем, впервые после трех дней снова зазвучавшим, как отчетливо сказанное вблизи: «Биче Сениэль». И я увидел ее незабываемое лицо.

С этой минуты мысль о ней не покидала уже меня, и я пошел в направлении главного движения, которое заворачивало от набережной через открытую с одной стороны площадь. Я был в неизвестном городе,— чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете неизвестного торжества, и, погрузясь в заразительно яркую суету, я стал рассматривать, что происходит вокруг; шел я не торопясь и никого не расспрашивал, так же, как никогда не хотел знать названия поразивших меня своей прелестью и

оригинальностью цветов. Впоследствии я узнавал эти названия. Но разве они прибавляли красок и лепестков? Нет, лишь на цветок как бы садился жук, которого уже не стряхнешь.

ГЛАВА XXII

Я узнал, что утром увижу другой город, город, как он есть, отличный от того, какой вижу сейчас,— выложенный, под мраком, листовым золотом света, озаряющего фасады. Это были по большей части двухэтажные каменные постройки, обнесенные навесами веранд и балконов. Они стояли тесно, сияя распахнутыми окнами и дверями. Иногда за углом крыши чернели веера пальм; в другом месте их ярко-зеленый блеск, более сильный внизу, указывал невидимую за стенами иллюминацию. Изобилие бумажных фонарей всех цветов, форм и рисунков мешало различить подлинные черты города. Фонари свешивались поперек улиц, пылали на перилах балконов, среди ковров, фестонами тянулись вдаль. Иногда перспектива улицы напоминала балет, где огни, цветы, лошади и живописная теснота людей, вышедших из тысячи сказок, в масках и без масок, смешивали шум карнавала с играющей по всему городу музыкой.

Чем более я наблюдал окружающее, два раза перейдя прибрежную площадь, прежде чем окончательно избрал направление, тем яснее видел, что карнавал не был искусственным весельем, ни весельем по обязанности или приказу,— горожане были действительно одержимы размахом, какой получила затея, и теперь размах этот бесконечно увлекал их, утоляя, может быть, давно нараставшую жажду всеобщего пестрого оглушения.

Я двинулся наконец по длинной улице в правом углу площади и попал так удачно, что иногда должен был останавливаться, чтобы пропустить процессию всадников — каких-нибудь средневековых бандитов в латах или чертей в красных трико, восседающих на мулах, украшенных бубенчиками и лентами. Я выбрал эту улицу из-за выгоды ее восхождения в глубь и в верх города, расположенного рядом террас, так как здесь, в конце каждого квартала, находилось несколько

ступеней из плитняка, отчего автомобили и громоздкие карнавальные экипажи не могли двигаться; но не один я искал такого преимущества. Толпа была так густа, что народ шел прямо по мостовой. Это было бесцельное движение ради движения зрелища. Меня обгоняли домино, шуты, черти, индейцы, негры *«такие»* и настоящие, которых с трудом можно было отличить от *«таких»*; женщины, окутанные газом, в лентах и перьях; развевались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками или обшитые белым мехом. Блеск глаз, лукавая таинственность полумасок, отряды матросов, прокладывающих дорогу взмахами бутылок, ловя кого-то в толпе с хохотом и визгом; пьяные ораторы на тумбах, которых никто не слушал или сталкивал невзначай локтем; звон колокольчиков, кавалькады принцесс и гризеток, восседающих на атласных попонах породистых скакунов; скопления у дверей, где в тумане мелькали бешеные лица и сжатые кулаки; пьяные врастяжку на мостовой; трусливо пробирающиеся домой кошки; нежные голоса и хриплые возгласы; песни и струны; звук поцелуя и хоры криков вдали — таково было настроение Гель-Гью этого вечера. Под фантастическим флагом тянулось грязное полотно навесов торговых ларей, где продавали лимонад, фисташковую воду, воду со льдом, содовую и виски, пальмовое вино и орехи, конфеты и конфетти, серпантин и хлопушки, петарды и маски, шарики из липкого теста и колючие сухие орехи вроде репья, выдрать шипы которых из волос или ткани являлось делом замысловатым. Время от времени среди толпы появлялся велосипедист, одетый медведем, монахом, обезьяной или Пьеро, на жабо которого тотчас приклеивались эти метко бросаемые цепкие колючие шарики. Появлялись великаны, пища резиновой куклой или гремя в огромные барабаны. На верандах танцевали; я наткнулся на бал среди мостовой и не без труда обошел его. Серпантин был так густо напущен по балконам и под ногами, что воздух шуршал. За время, что я шел, я получил несколько предложений самого разнообразного свойства: выпить, поцеловаться, играть в карты, проводить, танцевать, купить — и женские руки беспрерывно сновали передо мной, маня округленным взмахом поддаться общему влечению. Видя, что чем далее, тем идти труднее, я поспешил свернуть в переулок,

где было меньше движения. Повернув еще раз, я очутился на улице, почти пустой. Справа от меня, загибая влево и восходя вверх, тянулась, сдерживая обрыв, наклонная стена из глыб дикого камня. Над ней, по невидимым снизу дорогам, беспрерывно стучали колеса, мелькали фонари, огни сигар. Я не знал, какое я занимаю положение в отношении центра города; постояв, подумав и выбрав из своего фланелевого костюма все колючие шарики и обобрав шлепки липкого теста, которое следовало бы запретить, я пошел вверх среди относительной темноты. Я прошел мимо веранды, где, подбежав к ее краю, полуосвещенная женщина перегнулась ко мне, тихо позвав: «Это вы, Сульт?» — с любовью и опасением в вздрогнувшем голосе. Я вышел на свет, и она, сконфуженно засмеясь, исчезла.

Поднявшись к пересекающей эту улицу мостовой, я снова попал в дневной гул и ночной свет и пошел влево, как бы сознавая, что должен прийти к вершине угла тех двух направлений, по которым шел вначале и после. Я был на широкой, залитой асфальтом улице. В ее конце, бывшем неподалеку, виднелась площадь. Туда стремилась толпа со всего переулка. Через головы, перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки, я увидел статую, возвышавшуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины, с приподнятым лицом и протянутыми руками. Пока я проталкивался к ней среди толпы, ее поза и весь вид были мне не вполне ясны. Наконец я подошел близко, так, что увидел высеченную ниже ее ног надпись и прочитал ее. Она состояла из трех слов:

Бегущая по волнам

Когда я прочел эти слова, мир стал темнеть, и слово, одно слово могло бы объяснить все. Но его не было. Ничто не смогло бы отвлечь меня теперь от этой надписи. Она была во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли. Я поднял голову и рассмотрел статую. Скульптор делал ее с любовью. Я видел это по безошибочному чувству художественной удачи. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я видел, что ее дыхание уча-

стилось. Ее лицо было не тем, какое я знал,— не вполне тем, но уже то, что я сразу узнал его, показывало, как приблизил тему художник и как, среди множества представляющихся ему лиц, сказал: «Вот это должно быть тем лицом, какое единственно может быть высечено». Он дал ей одежду незамечаемой формы, подобной возникающей в воображении,— без ощущения ткани: сделал ее складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести. Ее мраморные глаза, эти условно видящие, но слепые при неумении изобразить их глаза статуи, казалось, смотрят сквозь мраморную тень. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые с силой внутреннего порыва, которым хотят определить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка пригибала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры.

Действительно, это было так: она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. И как ни отдаленно от всего, на высоком пьедестале из мраморных морских див, стояла «Бегущая по волнам»,— была она не одна. За ней грезился высоко поднятый волной бушприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру — прямо, вперед, рассекая город и ночь.

Настолько я владел чувствами, чтобы отличить независимое впечатление от впечатления, возникшего с большей силой лишь потому, что оно поднято обстоятельствами. Эта статуя была центр — главное слово всех других впечатлений. Теперь мне кажется, что я слышал тогда, как стоял шум толпы, но точно не могу утверждать. Я очнулся потому, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я отступил, увидев внимательно смотрящего на меня человека в треугольной шляпе, с серебряным поясом вокруг талии, затянутой в старинный сюртук. Красное седое лицо с трепетавшей от удивления бровью тотчас изменило выражение, когда я спросил, чего он хочет.

— А! — сказал человек и, так как нас толкали герои и героини всех пьес всех времен, отошел ближе к памятнику, сделав мне знак приблизиться. С ним было еще несколько человек в разных костюмах и трое —

в масках, которые стояли, как бы тоже требуя или ожидая объяснений.

Человек, сказавший «А», продолжал:

— Кажется, ничего не случилось. Я тронул вас потому, что вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным. Я вижу, что ошибся, поэтому прошу извинения.

— Я охотно прощаю вас,— сказал я,— если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасение, как бы я его не украл.

— Я говорил вам, что вы ошибаетесь,— вмешался молодой человек с ленивым лицом.— Но,— прибавил он, обращаясь ко мне,— действительно мы стали ломать голову, как может кто-нибудь оставаться так погруженно-неподвижен среди трескучей карусели толпы.

Все эти люди хотя и не были пьяны, но видно было, что они провели день в разнообразном веселье.

— Это приезжий,— сказал третий из группы, драпируясь в огненно-желтый плащ, причем рыжее перо на его шляпе сделало хмельной жест. У него и лицо было рыжим; веснушчатое, белое, рыхлое, лицо с полупечальным выражением рыжих бровей, хотя бесцветные блестящие глаза посмеивались.— Только у нас в Гель-Гью есть такой памятник.

Не желая упускать случая понять происходящее, я поклонился им и назвал себя. Тотчас протянулось ко мне несколько рук с именами и просьбами не вменить недоразумение ни в обиду, ни в нехороший умысел. Я начал с вопроса: подозрение чего могли возыметь они все?

— Вот что,— сказал Бавс, человек в треугольной шляпе,— может быть, вы не прочь посидеть с нами?! Наш табор неподалеку: вот он.

Я оглянулся и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас, через мостовую. На скатерти, сползавшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски — надо полагать, трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него десяти — двенадцати человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми, но, так как не хватало стульев, Бавс поймал пробега-

ющего мимо мальчишку, дал ему пинка, серебряную монету, и награжденный притащил из ресторана три стула, после чего, вздохнув, шмыгнул носом и исчез.

— Мы привели новообращенного,— сказал Трайт, владелец огненного плаща.— Вот он. Его имя Гарвей, он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.

— Я только что приехал,— сказал я, усаживаясь,— и действительно в восхищении от того, что я вижу, чего не понимаю и что действует на меня самым необыкновенным образом. Кроме того, я возбудил неясные подозрения.

Раздались восклицания, смысл которых был и дружелюбен, и бестолков. Но выделился человек в маске: из тех словоохотливых, настойчиво расталкивающих своим ровным голосом все остальные, более горячие голоса людей, лицо которых благодаря этой черте разговорной настойчивости есть тип, видимый даже под маской.

Я слушал его более чем внимательно.

— Знаете ли вы,— сказал он,— о Вильямсе Гобсе и его странной судьбе? Сто лет назад был здесь пустой, как луна, берег, и Вильямс Гобс, в силу предания, которому верит, кто хочет верить, плыл на корабле «Бегущая по волнам» из Европы в Бомбей. Какие у него были дела с Бомбеем, есть указания в городском архиве...

— Начнем с подозрений,— перебил Бавс.— Есть партия или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести...

— У них *нет* чести,— сказал совершенно пьяный человек в зеленом домино,— я знаю эту змею, Парана; дух из него вон, и дело с концом!

— Вот мы и думали,— ухватился Бавс за ничтожную паузу в разговоре,— что вы их сторонник, так как прошел час...

— ...есть указания в городском архиве,— поспешно вставил свое слово рассказчик.— Итак, я рассказываю легенду об основании города. Первый дом построил Вильямс Гобс, когда был выброшен на отмели среди скал. Корабль бился в шторме, опасаясь неизвестного берега и не имея возможности пересечь круговращение ветра. Тогда капитан увидел прекрасную молодую девушку, вбежавшую на палубу вместе с гребнем волны.

«Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба!» — сказала она можно понять *как* чувствовавшему себя капитану...

— Совсем не то,— перебил Бавс,— вернее, разговор был такой: «С вами говорит Фрези Грант; не пугайтесь и делайте, что скажу...»

— «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба»,— быстро договорил человек в маске.— Но я уже сказал это. Так вот, все спаслись по ее указанию: выброситься на мель, а она, конечно, исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. С Гобсом была жена, так напуганная происшествием, что наотрез отказалась плавать по морю. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг «Полина», и спасшиеся уехали с ним, но Гобс не захотел ехать, потому что не мог справиться с женой — так она напугалась во время шторма. Им оставили припасов и одного человека, не пожелавшего покинуть Гобса, так как он был ему чем-то крупно обязан. Имя этого человека Нэд Хорт; и так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат. Они умерли лет восемьдесят назад. Медленно идет время...

— Нет, очень быстро,— возразил Бавс.

— Конечно, я рассказал вам самую суть,— продолжал мой собеседник,— и только провел прямую линию, а обстоятельства и подробности этой легенды вы найдете в нашем архиве. Но слушайте дальше.

— Известно ли вам,— сказал я,— что существует корабль с названием «Бегущая по волнам»?

— О, как же! — ответил Бавс.— Это была прихоть старика Сенизля. Я его знал. Он из Гель-Гью, но лет десять назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники и посейчас живут здесь.

— Я видел это судно в лисском порту, отчего и спросил вас.

— С ним была странная история,— сказал Бавс.— С судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.

— Да, но произошла следующая история,— нетерпеливо перебил человек в маске.— Однажды...

Вдруг один человек, сидевший за столом, вскочил и протянул сжатый кулак по направлению автомобиля, объехавшего памятник Бегущей и остановившегося в нескольких шагах от нас. Тотчас вскочили все.

Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидели пять мужчин, все некостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах, и две дамы — одна некрасивая, с поблекшим жестким лицом, другая молодая, бледная и высокомерная. Среди мужчин было два старика. Первый, напоминающий разжиревшего, оскаленного бульдога, широко расставив локти, курил, ворочая ртом огромную сигару; другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплеч, худ, с угрюмо запавшими щеками, высоким лбом и собранными под ним в едкую улыбку чертами маленького, мускулистого лица, сжатого напряжением и сарказмом.

— Вот они! — закричал Бавс.— Вот червонные валеты карнавала! Добс, Коутс, бегите к памятнику! Эти люди способны укусить камень!

Вокруг автомобиля и стола столпился народ. Все встали. Стулья поопрокидывались; с автомобиля отвечали криками угроз и насмешек.

— Что? Караулите? — сказал толстый старик.— Смотрите не прозевайте!

— С *этим* не прозеваешь! — вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером.— Можете кататься, уезжать, приезжать или разбить себе голову — как хотите!

Второй старик закричал, высунувшись из автомобиля:

— Мы отобьем вашей кукле руки и ноги! Это произойдет скоро! Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брелоков.

Вне себя, Бавс начал рыться в кармане и побежал к автомобилю. Машина затряслась, сделала поворот, отъехала и скрылась, сопровождаемая свистками и аплодисментами. Тотчас явились два полисмена, в обрывках серпантиновых лент, с нетвердыми жестами; они стали уговаривать Бавса, который, дав в воздух несколько выстрелов, остановил велосипедиста, желая отобрать у него велосипед для погони за неприятелем. Остолбеневший хозяин велосипеда уже начал оглядываться, куда прислонить машину, чтобы, освободясь, дать выход своему гневу, но полисмен не допустил драки. Я слышал сквозь шум, как он кричал:

— Я все понимаю, но выберите другое место сводить счеты!

Во время этого столкновения, которое было улажено неизвестно как, я продолжал сидеть у покинутого стола. Ушли — вмешаться в происшествие или развлечься им — почти все; остались — я, хмельное зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник. Происшествие с автомобилем изменило направление его мыслей.

— Акулы, которых вы видели в автомобиле,— говорил он, следя, слушаю ли я его внимательно,— затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один, худощавый, это Кабон; у него восемь паровых мельниц; с ним толстый — Тукар, фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но это не удалось. Таким образом...

Его перебило возвращение всей застольной группы, занявшей свои места с гневом и смехом. Дальнейший разговор был так нервен и непоследователен — причем часть обращалась ко мне, поясняя происходящее, другая вставляла различные замечания, спорила и перебивала,— что я бессилен восстановить ход беседы. Я пил с ними, слушая то одного, то другого, пока мне не стало ясным положение дела.

Разумеется, под открытым небом, среди толпы, занятой увеселительными делами, сидение за этим столом разнообразилось всякими инцидентами. Знакомые моих хозяев появлялись с приветствиями, шептали им на ухо или, таинственно отведя их для секретной беседы, составляли беспокойный фон, на котором мелькал дождь конфетти, сыпавшийся из хорошеньких ручек. Покушение неизвестных масок взбесить нас танцами за нашей спиной, причем не прекращались разные веселые бедствия вроде закрывания сзади рукой глаз или изымания стула из-под привставшего человека вместе с писком, треском, пальбой, топотом и чепуховыми выкриками среди мелодий оркестров и яркого света, над которым, улыбаясь, неслась мраморная «Бегущая по волнам»,— все это входило в наш разговор и определяло его.

Как ни прекрасен был вещественный повод вражды и ненависти, явленный одинокой статуей,— вуль-

гарной оказалась сущность ее между людьми. Основой ее были старые счеты и материальные интересы. Еще лет пять назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуей или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склады участка принадлежала Грасу Парану. Фамилия Парана была одной из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Это были удачливые и сильные люди, с тем выгодным для них знанием жизни, которое одно, само по себе употребленное для обогащения, верно приводит к цели. Богатство их увеличивалось по законам роста дерева; оно не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году Элевзий Паран, дед нынешнего Граса Парана, не увидел среди глыб обвала на своем участке, замкнутом с одной стороны горами, ртутной лужи и не зачерпнул в горсть этого тяжелого вещества.

— Стоит вам взглянуть на термометр,— сказал Бавс,— или на пятно зеркального стекла, чтобы вспомнили это имя: Грас Паран. Ему принадлежит треть портовых участков и сорок домов. Кроме капитала, заложенного по железным дорогам, шести фабрик, земель и плантаций, свободный оборотный капитал Парана составляет около ста двадцати миллионов!

Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей, и усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова женился на молодой девушке. Расстояние возрастов было таково: Парану пятьдесят лет, его жене — восемнадцать и Герду — двадцать четыре. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он провел в Италии пять лет, учился по мастерским Фарнези, Ависа, Гардуччи и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой завязалась у него дружба, а дружба перешла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем — он, и более не вернулись.

Когда в Гель-Гью был поднят вопрос о памятнике основанию города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно

понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли; и в самой этой странной надписи было движение. Модель Герда (еще не знали, что это Герд) воскресила пустынные берега и мужественные фигуры первых поселенцев. Заказ был послан, имя Герда открыто, статуя перевезена из Флоренции в Гель-Гью при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж, но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. В дело вмешались страсти и самолюбие. Памятник был поставлен. Лицо Бегущей ничем не напоминало жену Парана, но своеобразное искажение чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело к маниакальному внушению: Паран остался при убеждении, что Герд в этой статуе изобразил Химену Паран.

Одно время казалось — история остановилась у точки. Однако Грас Паран, выждав время, начал жестокую борьбу, поставив задачей жизни убрать памятник; и достиг того, что среди огромного числа родственников, зависящих от него людей и людей подкупленных был поднят вопрос о безнравственности памятника, чем привлек на свою сторону людей, бессознательность которых ноет от старых уколов, от мелких и больших обид, от злобы, ищущей лишь повода,— людей с темными, сырыми ходами души, чья внутренняя жизнь скрыта и обнаруживается иногда непонятным поступком, в основе которого, однако, лежит мировоззрение, мстящее другому мировоззрению — без ясной мысли о том, что оно делает. Приемы и обстоятельства этой борьбы привели к попыткам разбить ночью статую, но подкупленные для этой цели люди были схвачены группой случайных прохожих, заподозривших неладное в их поведении. Наконец постановление города праздновать свое столетие карнавалом, которому также противодействовали Паран и его партия, довело этого человека до открытого бешенства. Были угрозы; их слышали и передавали по городу. Накануне карнавала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия памятника. Стрелявший скрылся;

и с этого часа несколько решительных людей установили охрану, сев за тот самый стол, где я сидел с ними. Тем временем нападающая сторона, не скрывая уже своих намерений, открыто поклялась разбить статую и обратить общее веселье в торжество мрачного замысла.

Таков был наш разговор, внимать которому приходилось с тем бо́льшим напряжением, что его течение часто нарушалось указанными выше вещественными и невещественными порывами.

Карнавалы, как я узнал тогда же, происходили в Гель-Гью и раньше благодаря французам и итальянцам, представленным значительным числом всего круга колонии. Но этот карнавал превзошел все прочие. Он был популярен. Его причина была красива. Взаимный яд двух газет и развитие борьбы за памятник, ставшей как бы нравственной борьбой, придали ему оттенок спортивный; неожиданно все приняло широкий размах. Город истратил на украшения и на торжество часть хозяйственных сумм, что еще подлило масла в огонь, так как единодейственники Парана мгновенно оклеветали врагов; те же, при взаимном наступательном громе, вытащили из-под сукна старые, неправильно решенные в пользу Парана дела. Грузоотправители, нуждающиеся в портовой земле под склады, возненавидели защитников памятника, так как Паран объявил свое решение: не давать участка, пока на площади стоит, протянув руки, «Бегущая по волнам».

Как я видел по стычке с автомобилем, эта статуя, имеющая для меня теперь совершенно особое значение, действительно подвергалась опасности. Отвечая на вопрос Бавса, согласен ли я держать сторону его друзей, то есть присоединиться к охране, я, не задумываясь, сказал: «Да». Меня заинтересовало также отношение к своей роли Бавса и всех других. Как выяснилось, это были домовладельцы, таможенные чины, торговцы, один офицер. Я не ожидал ни гимнов искусству, ни сладких или восторженных замечаний о глубине тщательно охраняемых впечатлений. Но меня удивили слова Бавса, сказавшего по этому поводу: «Нам всем пришлось так много думать о мраморной Фрези Грант, что она стала как бы наша знакомая. Но и то сказать, это — совершенство скульптуры.

Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас».

Так как подтвердилось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение одного крайне шумного человека без маски, одетого жокеем, полного, первного, с надутым красным лицом. Его глаза катались в орбитах с удивительной быстротой, видя и подмечая все. Он напевал, бурчал, барабанил пальцами, возился шумно на стуле, иногда врывался в разговор, не давая никому говорить, но так же внезапно умолкал, начиная, раскрыв рот, рассматривать лбы и брови говорунов. Сказав свое имя: «Ариногел Кук» — и сообщив, что живет за городом, а теперь заблаговременно получил номер в гостинице, Кук пригласил меня разделить его помещение.

— От всей души,— сказал он.— Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее. Бесстыдно сообщаю вам, что я сплетник; сплетня — моя болезнь, я люблю сплетничать и, говорят, достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом — богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей вроде вас, но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.

Я записал адрес гостиницы и едва отделался от Кука, желавшего немедленно показать мне, как я буду с ним жить. Еще некоторое время я не мог встать из-за стола, выслушивая кое-кого по этому же поводу, но наконец встал и обошел памятник.

Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля.

ГЛАВА XXIII

С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, сламываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую.

Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась мало заметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны, внизу памятника, была вторая надпись: «Георг Герд, 5 декабря 1909 года». Среди ночи, за следом маленьких ног, вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. «Не скучно ли на темной дороге?» — вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лицами, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули:

— Стрелять в женщину! — это сказала одна из них; другая ответила:

— Должно быть, человек был сумасшедший!

— Просто дурак,— возразила первая.— Однако идем.

Она начала шептать, но я слышал:

— Вы знаете, есть примета. Надо ее попросить...— остальное прозвучало, как «...а?! о?! Неужели!»

Маски рассмеялись коротким, грудным смешком секрета и любви, затем тронулись по своим делам.

Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами, и в полумаске.

— Вы тут были один? — торопливо проговорила она, возясь одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я но ушел.— Постойте, я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить... (Иду! — крикнула она на зов из толпы.) Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее и найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутаете? — и женщина двинулась отбежать, но я ее задержал. Карнавал полон мистификаций. Я сам когда-то посылал многих простачков искать несуществующее лицо, но этот случай мне показался серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянувшую его всем телом женщину, как пойманную лесой рыбу.

— Кто вас послал?

— Не разорвите! — сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке, а она подбежала за ним.— Отдайте же шарф! Эта самая

женщина и послала; сказала и ушла; ах, я потеряю своих! Иду! — закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее.— Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности! Ну?! — она выхватила шарф, кивнула и убежала.

Может ли быть, что, тайно от меня, думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы, охваченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто перешептывался, кто указывал на меня? Подготовлял встречу? Улыбался в тени? Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете?.. «Да, это Биче Сениэль,— сказал я,— и больше никто». В эту ночь я думал о ней, я ее искал, всматриваясь в прохожих. «Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь, я слышал, и я должен идти!» Я был в том безрассудном, схватившем среди непонятного первый навернувшийся смысл, состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ощупи. Все становится закрыто и недоступно; указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад; я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахе пудры и табака к лестнице, по которой сбегали и взбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли и шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу движений лишь наверху, где, влево, увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой.

Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего в левом от входа углу зала; минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху, и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестевшими немо и выразительно, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый вид затейливого секрета. Ее костюм был что-то среднее между матине и маскарадной фантазией. Его контуры широкие ру-

кава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам; другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе так и этак, делая вид, что закручивает усы, коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарвей». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я, Томас Гарвей, есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно, и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня — кто она.

— Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса,— сказал я.— Я видел вас, но никогда не говорил с вами.

Она стала на момент неподвижной; лишь ее взгляд в черных прорезях маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом:

— Скажите, как мое имя?

— *Вы* послали за мной?

Множество усердных кивков было ответом.

Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и спугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть. Но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя.

— Биче Сениэль! — тихо сказал я, первый раз произнеся вслух эти слова.— Лисс, гостиница «Дувр». Там остановились вы дней восемь тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто, как все просто во мне. Не знаю,— прибавил я, видя, что она отступила, уронила руки и молчит, молчит всем существом своим,— следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.

Ее рот дрогнул, полуоткрылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу, потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дэзи. Сквозь ее заметное огорчение скользнула улыбка удовольствия явиться вместо другой.

— Не хочу больше прятаться,— сказала она, протягивая мне руку.— Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.

Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла и, стоя вполуоборот, стала надевать полумаску.

Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом и неожиданностью. Я испытал мерзкое угнетение.

— Я был уверен,—сказал я, следуя за ней,— что вы уже спите на «Нырке». Отчего вы не подошли, когда я стоял у памятника?

Дэзи повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье это очень шло к ней: на нее оглядывались, проходя, мужчины, взглядывая затем на меня, но я чувствовал ее горькую растерянность. Дэзи проговорила, останавливаясь среди слов:

— Это верно, но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тоббоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника, один. Неужели это действительно сделана Фрези Грант? Как странно! Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тоббогана! Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно,— прибавила она, направляясь к лестнице и видя, что я пошел за ней.— Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего!

Мне незачем и не надо было идти вместе, но, сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахрому на груди. В ее вдруг потерявших гибкость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дэзи не затерялась среди толпы; потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел как следует ни пошутить, ни выразить удовольствие. Я выругал себя грубым животным и, хотя это было несправедливо,

пробирался среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя.

В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое: высокий морской офицер с любезным, крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дэзи. По крайней мере это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было: маскарадный двойник Дэзи была Биче Сениэль, и я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дэзи, по впечатлению основной черты этой новой и уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложения, телодвижений и, пока то пробегало в уме, сказал, кланяясь:

— Биче Сениэль, это — вы. Я вас узнал.

Она вздрогнула. Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, она двинула вверх нижней губой, как будто полумаска мешала ей видеть, и рассмеялась, но неохотно.

— Биче Сениэль? — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным.— Ах, извините, я не знаю ее. Я — не она.

Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал:

— Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гез, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях, может быть, даже вчера.

— О! А! — воскликнула она с серьезным недоумением.— Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф.

Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Биче Сениэль. Мгновение она рассматривала меня. Я поклонился и назвал себя.

— Мне кажется, что я вы поражены результатами вашей проницательности,— заметила она.— Сознаюсь, что я ничего не понимаю.

Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она тотчас поняла это и, взглянув на офицера, сказала:

— Мой племянник, Ботвель. Да, так; я вижу, что надо поговорить.

Ботвель, стоявший сложив руки, переводя взгляд от Биче ко мне, заметил:

— Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нувелю уговориться относительно поездки в Латорн.

Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал; потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой, эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы.

Биче смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я сознавал всю трудность предстоящего разговора, почему медлил, но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки:

— Вы плыли на «Бегущей»? — Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать, отчего я начал говорить сбивчиво. Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить о ней, но когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись.

Я был очень благодарен Биче за внимание и спокойствие, с каким слушала она рассказ о сцене на набережной, то есть о себе самой. Она улыбнулась лишь, когда я прибавил, что, звоня в «Дувр», вызвал *Анну Макферсон.*

— Я слушаю, слушаю,— сказала она; затем — очень серьезно: — Я поняла, что́ передали вы обо мне, я представляю это.

Вскоре после того Биче снова надела полумаску, отчего я почувствовал себя спокойнее и увереннее. Теперь лишь по движению губ Биче мог судить я о ее отношении к моему рассказу.

Как только я рассказал о набережной, стало возможным говорить о сегодняшнем вечере.

— Теперь вам придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого; считаю многое незаслуженной удачей.

Мне не хотелось упоминать о Дэзи, но выхода не было. Я рассказал о ее шутке и о второй встрече с совершенно таким же, желтым, отделанным коричневой бахромой платьем, то есть с самой Биче. Я сказал еще, что лишь благодаря такому настойчивому повторению одного и того же костюма я подошел к ней с полной уверенностью.

— Следовательно, вы рассчитывали встретить *меня?* — спросила она.— О, действительно это сложно! Да, но еще—Гез. Конечно, он вам говорил обо мне?!

— Нет.

— Платье, этот костюм мы еще, пожалуй, поймем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. Она тронула бахрому на груди и продолжала:—Войдя туда, я увидела свой костюм среди нескольких других; в общем, оставалось уже немного. Я указала этот. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один. Второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?

— Должно быть, так,— ответил я, стараясь не усложнять объяснения, которое, предполагая тройную разительную случайность, все же умещалось в уме.— Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.

— Здесь нет секрета,— ответила Биче, подумав.— Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш, он принадлежал моему отцу. Гез присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне, хотя я и не могу понять! Дело в том, что я в Гель-Гью только затем, чтобы заставить Геза вернуть нам «Бегущую». Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.

Снова начались музыка, танцы: пол содрогался. Слова Биче о «мошеннической проделке» Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть были мудрая простота и тонкая

внимательность, сделавшие мой рассказ неполным; я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал поэтому о происшествии в доме Стерса.

— За крупную сумму,— сказал я,— Гез согласился предоставить мне каюту на «Бегущей по волнам», и мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье, утром я был взят небольшой шхуной, шедшей в Гель-Гью. Я прибыл сюда сегодня вечером.

Действие этого рассказа было таково, что Биче немедленно сняла полумаску и больше уж не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие: лишь, сведя брови, стесненно вздохнула.

— Недурно! — сказала она с выражением, которое стоило многих восклицательных знаков.— Следовательно, Гез... Я знала, что он негодяй. Но я не знала, что он может быть страшен.

В увлечении я хотел было заговорить о Фрези Грант, и мне показалось, что в нервном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет уместен. Я вспомнил, что *нельзя* говорить, с болью подумав: «Почему?» В то же время я понимал *почему*, но отгонял понимание. Оно еще было пока лишено слов.

Не упоминая, разумеется, о портрете, прибавив, сколько мог, прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Биче, видимо, доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда.

«Бегущая по волнам» была выстроена ее отцом для матери Биче, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей лет восемь назад. Капитаном поступил Гез; Бутлер и Синкрайт не были известны Биче; они начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После

того как Сениэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Сениэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем, фиктивной передачей его в собственность капитану. Гез выполнил все формальности; кроме того, он уплатил половину остатка долга Сениэля.

Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и отвел «Бегущую» в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Сениэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях, но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег.

— Но он не денег хотел,— сказала Биче, задумчиво рассматривая меня.— Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело.— Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передавшейся мне, *что* произошло.— Ну, так вот. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите, лишь писал длинные письма, и в последних письмах его (я все читала) прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что, если он не отдаст обратно «Бегущую», моя судьба будет... сделаться— да, да!— его, видите ли, женой. Да, он такой. Это странный человек, и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на два-три дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению и сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем или мелодраматическим негодяем с «искрой в душе». А? — Она рассмеялась.— Ну, вот видите теперь сами. Но его основа,— сказала она с убеждением,— это черт знает что! Вначале он, по крайней мере у нас, был другим. Лишь изредка слышали о разных его подвигах, на что не обращали внимания.

Я молчал, она улыбнулась своему размышлению,
— «Бегущая по волнам!»— сказала Биче, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на коле-

них.— Отец очень стар. Не знаю, кто старше, он или его трость; он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всей огромной, долго, бурно, счастливо и содержательно прожитой им своей жизни, образ моей матери все яснее, отчетливее ему, и память о том, что связано с ней, остра. Я вижу, как он мучается, что «Бегущая по волнам» ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на семь тысяч... Вот-вот: читаю в ваших глазах: «Отважная, смелая»... Дело в том, что в Гезе есть — так мне кажется, конечно,— известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется психологией. Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лиссе, куда указывали мои справки, я разминулась с Гезом всего на один день; не зная, зайдет он в Лисс или отправится прямо в Гель-Гью, я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть, это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно: мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала, решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности— не потому, чтобы не видела, что говорю с джентльменом, но... это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрези Грант?

— Знаю.

— Ведь это— «Бегущая». Оригинальный город Гель-Гью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Сениэли,— герои праздника: у нас есть корабль с этим названием — «Бегущая по волнам»; кроме того, моя мать родом из Гель-Гью; она — прямой потомок Вильямса Гобса, одного из основателей города.

— Известно ли вам,— сказал я,— что корабль переуступлен Брауну так же мнимо, как ваш отец продал его Гезу?

— О да! Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Вот и Ботвель.

Приближаясь, Ботвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти.

— Представьте, что случилось,— сказала ему Биче.— Наш новый знакомый, Томас Гарвей, плавал

на «Бегущей» с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь.

Она не прибавила ничего больше об этой истории, предоставляя мне, если я хочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт; коротко подтвердив слова Биче, я умолчал Ботвелю о подробностях своего путешествия.

Биче сказала:

— Меня узнали случайно, но очень, очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка.

Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах.

— Да,— сказал Ботвель,— мрачный пират преследует нашу Биче с кинжалом в зубах. Это уже все знают; настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы.

— Смейтесь! — воскликнула Биче.— А мне, без смеха, предстоит мучительный разговор!

— Мы вместе с Гарвеем войдем к Гезу,—сказал Ботвель,— и будем при разговоре.

— Тогда ничего не выйдет.— Биче вздохнула.— Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем.

— Вас не тревожит...— Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать.

— О-о! — заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда.— Однако ночь чудес затянулась. Нам идти, Ботвель.— Вдруг оживясь, засмеявшись так, что стала совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне.

— Вы будете у нас? — сказала Биче.— Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра.

Я поблагодарил, после чего Биче и Ботвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей зала, теснясь среди маскарадной толпы. Биче подала руку.

— Итак, вы *все* помните?— сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством.— Даже то, что происходит на набережной? (Ботвель улыбался, не понимая). Правда, память — ужасная вещь! Согласны?

— Но не в данном случае.

— А в каком? Ну, Ботвель, это все стоит рассказать Герде Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь,— обратилась ко мне девушка,— я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно! Так все сложно. Вся жизнь! Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, эти два платья. Тут есть вопрос! До свидания.

Когда она отвернулась, уходя с Ботвелем, ее лицо — как я видел его профиль — стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня; угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта, лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь.

Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я наконец опамятовался и вышел из зала по лестнице, к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час назад спускалась по этой лестнице Дэзи, задумчиво теребя бахрому платья, и смиренно, от всей души пожелал ей спокойной ночи.

ГЛАВА XXIV

Захотев есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан, и, хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты; яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в игольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фут пространства возле буфета, куда я тотчас и устремился, когда это случилось, и начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Неизвестный человек расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я всмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом: этот человек был Синкрайт.

Пытаясь оттолкнуть и меня, Синкрайт бегло оглянулся; тогда, задержав его взгляд своим, я сказал:

— Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами!

Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал страстную, мучительную тоску, желание бежать, скрыться, хотя в этой тесноте бежать смогла бы разве лишь кошка.

— Фу, фу! — сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки.— Я весь дрожу! Как я рад, как счастлив, что вы живы! Я не виноват, клянусь! Это — Гез. Ради бога, выслушайте, и вы все узнаете! Какая это была безумная ночь! Будь проклят Гез; я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем!

Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел, но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал:

— Выйдем отсюда...

— Конечно... Я всегда...

Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на «Бегущей», как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в Дагон. Тогда мы были от Дагона на расстоянии всего пятидесяти с небольшим миль. Один Бутлер думал, что может случиться худшее.

Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему.

Произошло следующее.

С самого начала, когда я сел на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план — объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гез думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение после отплытия из Лисса стало очень

скверным, раздражительным. Он постоянно твердил: «Будет неудача с этим проклятым Гарвеем».

— Я чувствовал его нежную любовь,— сказал я,— но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?

— Клянусь вам, не знаю! — вскричал Синкрайт.— Может быть... трудно сказать. Он, видите ли, суеверен.

Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гез поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть «таинственного», по их словам, пассажира и дразнили Геза моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гез, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гель-Гью; теперь они покинули судно. «Бегущая» пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гез вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя.

— Здесь,— говорил Синкрайт,— то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно. Верните его!» Гез стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама, вы знаете...

Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить: «Откуда появилась она?» — и тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом или поддержать удобную простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил:

— Да. И вы не могли понять?!

— Ясно,— сказал Синкрайт,— она была с вами, но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга,— что было думать обо всем этом? Гез снова сошел с ума. Он хотел ее задержать, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали

с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гез клялся, что она пришла к вам ночью в Лиссе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами всего света, чем Гез. Он только и твердил что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз за сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалованье, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку!

— Синкрайт,— сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план, полезный Биче,— вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл...

— Клянусь!..— начал Синкрайт и умолк на первом моем движении.

Я продолжал:

— Это *было,* а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии.

— Говорите, ради бога; я сделаю все!

— Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.

— Готов промолчать сто лет; простите меня!

— Так. Где Гез — на судне или на берегу?

— Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и Пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.

— Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен.

— Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?

— Поменьше пейте,— сказал я, немного смягченный его испугом и рабством.— А также оставьте Геза.

— Клянусь...— начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступенях подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу.

Движение уменьшалось. Толпа расходилась; двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпаю-

щий город «Бегущая по волнам», и я простился с ней, как с живой.

Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их. Но все равно он спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня: «Устраивайтесь»,— и с треском завалился на другой бок.

Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз; комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

ГЛАВА XXV

Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано, и это желание — рано встать — бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпяченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восстановив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра.

Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки: одну — Биче Сениэль, уведомляя ее, что Гез находится в Гель-Гью, с указанием его адреса; вторую — Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дэзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса.

Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гез уйдет по своим делам или спрячет-

ся, если Синкрайт не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Сениэлей,— я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и Пар», белого, грязного дома, со стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые, догоняющие меня шаги. «Остановитесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся.

Это был Бутлер, с его тяжелой улыбкой.

— Войдемте на лестницу,— сказал он.— Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело, что говорить! Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, *почему* ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне; это так. Впрочем, от вас зависит, знаться со мной или смотреть как на врага.

Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно; в них были и горький упрек себе, и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, послышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особенного внимания, я стал подниматься по лестнице, сказав Бутлеру:

— Я склонен вам верить; но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор.

— Хорошо,— сказал он.— Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова; потом я уйду.

В это время мы поднялись во второй этаж и шли по тесному коридору, с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей — четыре или пять,— разделенных неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая крикливая особа лет

сорока, с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся, дома ли Гез, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце.

— Дома ли он — не хочу и не хочу знать! — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение.— Ступайте сами и узнавайте, но я к этому подлецу больше ни шагу. Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш Гез! Я думала, он меня стукнет. «Ступай вон!» Это — мне! Дома,— закончила она, свирепо вздохнув,— уже стрелял. Я на звонки не иду, черт с ним: так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. Идите и, если спросит, не видели ли меня, можете сказать, что я ему не слуга. Там женщина,— прибавила толстуха.— Развратник!

Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на Бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо.

Я начал стучать, вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась — следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил.

— Стучите громче,— сказал Бутлер,— он, верно, снова заснул.

Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире; теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это Бутлеру.

— Там никого нет,— подтвердил он.— Странно, но правда. Ну, что же, давайте откроем.

Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкаф, и вошел, крайне пораженный тем, что Гез лежит на полу.

ГЛАВА XXVI

— Да,— сказал Бутлер после молчания, установившего смерть,— можно было стучать громко или тихо — все равно. Пуля в лоб: точно так, как вы хотели.

Я подошел к трупу, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекшую к порогу из простреленной головы Геза.

Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к выходу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери; расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул; рана над переносицей слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть — часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы. Диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутылка на столе, среди сигар, галстуков и перчаток; у двери — темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка, с наспех наброшенным одеялом,— вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Геза лежал револьвер. В задней стене, за столом, было раскрытое окно.

Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настежь и укрепил.

— Мы не должны закрываться,— резонно заметил он.— Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит — убит *или* застрелился. Он мертв.

Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум; справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом, заглянул в дверь; его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе; почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял, у стола. Бутлер, походив, сел; он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова.

Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем, среди разом нахлынувшей толпы — человек пятнадцати — появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно спокойна. Я *заставил* себя узнать ее. Это была Биче Сениэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут: «Эти люди мне неизвестны».

Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Геза ее совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее *не знать*. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Биче взглядом. «Нет»,— сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп.

В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа, Биче, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она постукивала пальцами о ручку дивана, потом, с выражением осторожно переходящей грязную улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд.

— Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице,— объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену.— Вот то же скажет жена. Эй, хозяин! Гарден! Мы оба задержали ее на лестнице!

— А вы кто такой? — осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым.

Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня.

— Бутлер и тот джентльмен пришли только что, они еще спрашивали, дома ли Гез. Ну, вот — только зайти сюда.

— Я помощник убитого,— сказал Бутлер.— Мы пришли вместе; постучали, вошли и увидели.

Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены, и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Биче сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и когда они оба направились

к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где — свидетели не могли знать. Биче уже шла внизу, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Биче пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу.

Пока происходили эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Биче, все еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других, и тотчас же ее взгляд мне точно сказал: «Нет». Впрочем, довольно было видеть ее безыскусственную чуждость происходящему. Я подивился этому возвышенному самообладанию в таком месте и при подавляющих обстоятельствах. Все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице, так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь.

Среди общего волнения за стеной раздались шаги: люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным, деловым лицом; за ним врач и два полисмена.

— Кем был обнаружен труп? — спросил комиссар, оглядывая толпу.

Я, а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите.

— Вы останетесь. Кто хозяин?

— Я. — Гарден принес к столу стул, и комиссар сел; расставив колена и опустив меж них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад.

Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Биче Сениэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе.

При появлении полиции Биче не изменила положения, лишь взглядом напомнила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов; комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике.

— Прошу вас сесть,— сказал комиссар.— Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.

— Оно останется неизвестным,— ответила Биче, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав было краснеть, прикусила губу.

Комиссар сказал:

— Хозяин, удалите всех, останутся вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.

— Я ничего не объясню вам,— сказала Биче так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее.

В это время все, кроме Биче, Гардена, меня и Бутлера, покинули комнату. Дверь закрылась. За ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных.

— Вы отказываетесь отвечать на вопрос? — спросил комиссар с той дозой официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы.

— Да.— Биче кивнула.— Я отказываюсь отвечать. Но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.

— Я слушаю вас.

— Конечно, я непричастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.

— Это — все? — сказал комиссар, записывая ее слова.— Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство; мы пока что не знаем. Вас видели спрыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.

— Они подозрительны,— сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово.— С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои со-

бражения, есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое — о! — очень несложное показание, но объявить, кто́ я, теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда, мне нельзя. У меня есть отец, восьмидесятилетний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить.

— Вы боитесь огласки?

— Единственно. Кроме того, показание по существу связано с моим именем, и, объявив, в чем было дело, я, таким образом, все равно что назову себя.

— Так,—сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону.— Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?

— Не знаю. Может быть, даже нет. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознания непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.

— Однако,— возразил комиссар,— не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?

— Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя или откроют его.

— У вас нет оружия?

— Я не ношу оружия.

— Начнем по порядку,— сказал комиссар, записывая, что услышал.

ГЛАВА XXVII

Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это — несмотря на отрицающие преступление внешность и манеру Биче — яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчивается. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев

плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы бросивших вдруг свет на события утра, и второй, вслед за этим, более вразумительный, то есть сознание, что желание Бутлера скрыть тайный провоз яда ничего не объясняет в смысле убийства и ничем не спасает Биче. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени — а, как я уже говорил, портрет в каюте Геза не оставлял ему сомнений — я думал, что хотя и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет.

Оставив Биче в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было семь гнезд, их пули оказались на месте.

— Можете вы сказать, чей это револьвер? — спросил Бутлера комиссар.

— Это его револьвер, капитана,— ответил моряк.— Гез никогда не расставался с револьвером.

— Точно ли это его револьвер?

— Это его револьвер,— сказал Бутлер.— Он мне знаком, как кофейник — повару.

Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукатурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята, меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Геза; кроме того — никелирована.

— Риверс-бульдог,— сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля.— Убитый не воспользовался своим кольтом.

Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Геза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завернутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму: пять тысяч фунтов.

— Он не был ограблен,— сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся слож-

ность событий оборачивалась все более в худшую сторону для Биче.

Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, но был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина, Гардена.

Рассказав, что Гез останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуге, иногда не ночевал дома и был, в общем, беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу.

— В девять часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан; изругал меня, Пегги и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и часов около десяти услышал выстрелы, не помню сколько. Гез угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен, будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги, пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать. Я спрочил, что случилось. Оказалось, что к Гезу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно идти, если Гез позвонит. Я выпытал все же у нее, что она идти не намерена, и, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со «Спринга»; они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана Геза стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Поставщик ждал; я вернулся к нему. Затем прошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гез был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома (у нас общий двор) спешат мне навстречу, а среди них эта неизвестная барышня. Дверь Геза была раскрыта настежь. Там стояли двое: Бутлер — я знаю Бутлера — и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гез лежит на полу, потом вошел вместе с другими.

— Позовите женщину, Пегги,— сказал комиссар.

Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты; когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу.

— Расскажите, что вам известно,— предложил комиссар после обыкновенных вопросов: как зовут и сколько лет.

— Он умер, я не хочу говорить худого,— торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь.— Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось.

— Что́ началось?

— Я не то говорю. Он пришел вчера поздно; да, Гез. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой, почему я не могла прибрать. Я еще не спала; я слышала, как он стучит наверху: идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать тут, там — ну, что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно (Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в момент окрика), я возразила насчет моих обязанностей. «А это ты видела?» — закричал он. То есть видела ли я стул. Потому что он стал махать стулом над моей головой. Что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит...

— Когда это было?

— Часов в восемь. Я бы и минуты заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.

— Вы невинны, Пегги! — сказал комиссар.— Что же было после звонка?

— Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует.

Биче, внимательно слушавшая рассказ горячего пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть это доказательство ее нервной силы.

Пегги продолжала:

— ...стал звонить на разные манеры и все под чужой звонок, сам же он звонит коротко: раз, два. Пу-

стил трель, потом начал позвякивать добродушно и — снова своим, коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги; он грозит изрешетить потолок», — палить то есть начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы заложили дверь баррикадой и бились: на шестерых — три...

— Вы храбрая женщина, Пегги, — перебил комиссар, — но то дело прошедшее. Говорите об этом.

— Да, я не трус, это все скажут. Если мою жизнь рассказать, — будет роман. Так вот, начало стучать там, у Геза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот, взгляните...

Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сосчитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов; эти числа сошлись. Пегги продолжала:

— Я пошла к нему; пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потому поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу — меня окликнули. Вот эта барышня; извините, не знаю, как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу человеческое лицо. «У вас остановился капитан Вильям Гез? — так она меня спросила. — В каком номере он живет?» — Значит, опять он, не выйти ему у меня из головы и тем более от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж! Каждый ходит куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гез вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь; потом покраснел и сказал: «Это вы! Это вы! Здесь!» Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала: только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия! Однако на лестнице я остановилась — может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гез и барышня, пошли в галерею, где начали говорить, но что — не знаю. Только слышно: «Гу-гу, гу-гу, гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь,

Каждый ходит куда хочет. Я побыла внизу, а этак через полчаса принесли письма маклеру из первого номера, и я пошла снова наверх кинуть их ему под дверь; постояла, послушала: все тихо. Гез не звонит. Вдруг: бац! Это у него выстрел. Вот он *какой* был выстрел! Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески. Ведь видел, что я постучала; значит, приду и так. Тем более это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет: ей некогда. Ну-с, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина; она — туда, она — сюда, и, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли наверх Бутлер с джентльменом и опять насчет Геза: «Дома ли он?» В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала, только показала на дверь, а сама скорее ушла, потому что, думаю, если ты меня позвонишь, так знай же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете мне не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале думала я, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал, сам не свой. Вот когда вошли, я и увидела... Гез готов.

Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла, пятясь и кланяясь. Наступила моя очередь, и я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрения на себя, как это ни было трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Биче Сениэль. Сознаюсь, я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с Бутлером, на глазах прислуги, когда Гез уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрение комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гез в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гез, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрайту, я умолчал о его активном участии. Бутлер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например о фотографии Биче в каюте Геза и запутанном положении корабля в руках капитана, с целью сосредоточить все происшествия на себе. Я говорил,

тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Биче при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гезу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности.

Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе в связи с Гезом сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями Бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно, понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль Бутлера благоприятным для него упоминанием о, в сущности, пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника, он, быть может, встревожился, как виновный в недонесении. Так или иначе, Бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съежился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое усилие, какое бывает при внезапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя.

По ставшему чрезвычайно серьезным лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам поступил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось.

— Объявляю,— сказал комиссар, встав,— впредь до выяснения дела арестованными: неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.

В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал: таким чужим, изменившимся голосом заговорил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес:

— Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.

— Что это значит? — спросил комиссар.

— Я убил Геза.

ГЛАВА XXVIII

К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности; но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Биче Сениэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое — из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем,— с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств.

— Этого надо было ожидать,— сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам.— Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь и изложите, как было совершено преступление.

— Я решил,— начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму,— я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это — случай; я не хотел его убивать. Я молчал потому, что надеялся, для барышни, на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснения она не дала — следовательно, ее надо арестовать. Так, это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать. Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот,— встать и сказать: Геза застрелил я.

— Благодарю вас,— сказала Биче с участием,— вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.

— Должно быть, понадобится,— ответил Бутлер, подавленно улыбаясь.— Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гель-Гью с контрабандой из Дагона.

Четыреста ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть?

Он вытащил предмет, который тайно отобрал от меня, и передал его комиссару, отвинтив гайку.

— Заказные формы,— сказал комиссар, осмотрев начинку болта.— Кто же изобрел такую уловку?

— Должен заявить,— пояснил Бутлер,— что все дело вел Гез. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за десять лет триста пятьдесят фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Гез обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно тысяча двести фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гез и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гез был против Гарвея, так как, по крайней мнительности, опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что как-никак чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. После того как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и, несмотря на мои уговоры, человека бросили в шлюпку миль за пятьдесят от Дагона, а вмешаться как следует значило потерять все, потому что Гез, взбесившись, способен на открытый грабеж,— я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрайту было просто обещано пятьдесят фунтов, и он был спокоен, зная, должно быть, что все пронюхает и добьется своего в большем размере, чем надеется Гез. Я ничего не говорил, ожидая, что будет в Гель-Гью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более двух дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстояться, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий.

Гез утверждал, что переговоры с агентом по продаже ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но, когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре

после того, как мы отшвартовались, и явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги.

«Вот все, что удалось получить,— так он заявил мне.— Всего три тысячи пятьсот. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на три тысячи пятьсот фунтов за тысячу сто килограммов».

Мне приходилось, по расчету моих и его денег — причем он уверял, что болты стоили ему по три гинеи за сотню,— непроверенные остатки. Я выделился, таким образом, из расчета пятьсот за триста пятьдесят, и между нами произошла сцена. Однако доказать ничего было нельзя, поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше как за пять тысяч не может быть продана, что цена держится крепко.

Обдумав, как уличить Геза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку, сзади конторы, чтобы я услышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему четыре с половиной фунта за килограмм, а когда тот начал торговаться — накинул пять и даже пять с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль и, как Гез уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить, пошел к нему, но его не застал. Был я еще вечером — раз, два, три раза — и безуспешно. Наконец, сегодня утром, около десяти часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гезу. Ответа я не получил, а, тронув за ручку двери, увидел, что она не заперта, и вошел. Может быть, Гез в это время ходил вниз жаловаться на Пегги.

Так или иначе, но я был здесь один в комнате, с неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или выйти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то:

«Она должна явиться немедленно».

Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела.

Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я дополнил свой план, уже стоя в шкафу. План был очень прост: услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гез вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча:

«Я вам покажу! Вы меня мало знаете, подлецы».

Некоторое время было тихо. Гез, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая, потом вздохнул и сказал:

«Проклятая жизнь!»

Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал:

«Как?! Может ли быть?! Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!»

Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров; каких — не имею права сказать.

Бутлер замолчал, предоставляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Биче, которая заявила:

— Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Биче Сениэль. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля «Бегущая по волнам». Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.

— Я вижу уже,— ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение,— что вы будете допрошены как свидетельница.

Бутлер продолжал:

— Она отказалась войти, и я слышал, как Гез говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкаф, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гез запер помещение на ключ, наружная лестница, которая находится под самым окном,

оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокоило.

Пока я соображал так, Гез возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гез бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гез сказал: «О мука! Лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкафа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер.

Гез был убит быстрее, чем я вышел из шкафа. Увидев меня, должно быть взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал. Слезы текли по его лицу; он крикнул: «Убью, как собаку!» — и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это, или я где-то слышал действительно,— я вспомнил странные слова: «Он получит пулю в лоб...» — и мою руку, без прицела, вместе с движением и выстрелом, повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гез уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места; но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках пробежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс, под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появлялись очень быстро и с силой. Так я, например, узнав, что Гарвей идет к Гезу,— немедленно, с совершенным убеждением порешил, что если есть на меня какие-нибудь неведомые

мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. Одно стояло в уме: «Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все». Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать.

На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился.

— Дайте вашу руку, Бутлер,— сказала Биче. Она взяла его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее.— Вы тоже не виноваты, а если и были виноваты, не виновны теперь.— Она обратилась к комиссару: — Должна говорить я.

— Желаете дать показания наедине?

— Только так.

— Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей — вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.

Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Биче и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившейся изо всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял кеб; я нанял его и стал ожидать Биче, дополняя воображением немногие слова Бутлера — те, что развертывались теперь в показание, тяжелое для женщины и в особенности для девушки. Но, уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

ГЛАВА XXIX

Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью: «Ее еще нет». Ожидание утомило меня более, чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Биче. Она поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли Биче ехать домой одна.

— Да и нет; хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.

Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Биче заговорила о Гезе.

— Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и побежала к окну, я увидела, как могу избавиться от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда!

— Увы, я не мог ничем вам помочь!

— Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в семь. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?

— «Бегущая по волнам»,— ответил я,— едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрайта и судно не будет выпущено из порта, пока права Сенизлей не установит портовый суд, а для этого необходимо снестись с Брауном.

— Я не понимаю,—сказала Биче, задумавшись,— каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей: Геза, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.

— Вы были очень испуганы?

— Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил, как в бреду, и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом, налево, тот дом, где я живу.

Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро пошла внутрь; я смотрел ей вслед. Она обернулась и, остановясь, пристально посмотрела на меня издали,

но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу.

Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был или озабочен, или в неудовольствии по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дэзи. Девушка извещала, что «Нырок» уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за вчерашнюю выходку. «Но это было смешно,— стояло в конце.— Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать».

Как я ни был полон Биче, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а поэтому эта милая и простая записка Дэзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на «Нырок» завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти — привычка, которую ненавижу. Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук наконец не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезнуя, я получил ответ, что у него припадок неврастении.

— Как я вам себя рекомендовал — это все верно,— говорил Кук, бешено разламывая спичечную коробку,— то есть, что я сплетник, сплетник по убеждению, по призванию, наконец по эстетическому уклону. Но я также и неврастеник. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады! Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом сердце ореха червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне

стало грустно, и я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.

Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически.

— Я смотрю мрачно,— сказал он, шагая по комнате, засунув руки за спину и смотря в пол.— Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними —черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги— ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упоительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих; они гласят: «Любовь навсегда!» — «Ты муж, я жена!» — «Люблю, и страдаю, и верю в невозможное счастье!» — «Жизнь так хороша!» — «Отдадимся веселью, а завтра — рука об руку, до гроба, вместе с тобой!» Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, лет десять. Я слышу там зевоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющихся, валясь на пол, ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом: он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен,— думает муж,— и я очень любил танцевать вальс»... Кстати,— ввернул Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака,— вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля? О, я вам расскажу! Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот...

Видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неот-

ложные дела, но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом:

— Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!

Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастении. Моей целью было увидеть Дэзи, не откладывая это на завтра, но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог после утренней картины в портовой гостинице внимать болтовне Кука.

ГЛАВА XXX

Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств, и, думая о Дэзи, я помнил раскаянное стеснение вчера, когда я так растерянно отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал «Нырок», стоявший, как указала Дэзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шхун, выстроенных борт к борту.

Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.

— Одна Дэзи,— сказал матрос.— Проктор и Тоббоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю,— прибавил он.— Замечательное происшествие! По крайней мере вы избавлены от хлопот. Она внизу.

Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было четыре двери; не зная, в которую постучать, я остановился.

— Это вы, Больт? — послышался голос девушки.— Кто там? Войдите! — сказала она, помолчав.

Я постучал на голос; каюта находилась против трапа, и я в ней не был ни разу.

— Не заперто! — воскликнула девушка.

Я вошел, очутясь в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дэзи

сидела меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дэзи: она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.

— Я знала, что вы придете,— сказала девушка.— Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?

Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о Биче. Она слушала молча, подбрасывая пальцем страницу открытой книги.

— Вам было страшно? — сказала Дэзи, когда я кончил рассказывать.— Я представляю, какой ужас!

— Это еще так свежо,—ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил в углу висящее желтое платье с коричневой бахромой,— что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было.

— Чему, чему вы улыбнулись?! — вскричала Дэзи, заметив, что я посмотрел на платье.— Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?

— Разве можно на вас сердиться,— ответил я искренне.— Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать почему. Но вы понимаете.

— Я понимаю,— сказала девушка,— и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте.

Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым, невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дэзи поведала свои приключения. Оказалось, что Тоббоган пристал к толпе игроков, окружающих рулетку, под навесом, у какой-то стены.

— Сначала,— говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось,— он пообещал мне, что сделает всего три ставки и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют; будем веселиться и есть, но,

как ему повезло — ему здорово вчера повезло,— он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем кафе, и я, за выпитый там стакан шоколада, выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер: ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Тоббогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. Это плохой знак. «Дэзи, ступай домой,— сказал он, взглядом умоляя меня.— Ты видишь, как мне везет. Это ведь для тебя!» В то время возникло у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что́ представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Тоббогана и скрепя сердце стала отходить от того места все дальше, дальше, а когда подумала, что, в сущности, никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно: «Скорее, скорее, скорее!» Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне все было не по карману, наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано, как вы сами, вероятно, убедились на ком-нибудь другом,— вставила Дэзи.— Нет, я ничего не хочу знать! Мне просто не повезло. Надо же было так случиться! Ужас что такое, если порассудить! Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же купила я полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом — туда-сюда... надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. О-го-го! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побыла в театре и малость, грешным делом, оттанцевала разка три. Одним словом — наш пострел везде поспел! —

Дэзи расхохоталась.— Одна так одна! Ну-с, сбежав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас, и тут мне одна женщина оказала услугу. Вы знаете какую. Я вернулась и стала представлять, что́ вы мне скажете. И-и-и... произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором — так они были хороши,— и произвела фурор. Спасибо Проктору; он крепко рассердился на Тоббогана и тотчас послал матросов отвести меня на «Нырок». Представьте, Тоббоган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне, и ему. Но мы теперь помирились.

— Милая Дэзи,— сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом,— я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся,— а мы должны встретиться,— то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.

— Никогда,— сказала она с важностью.— Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы такой...

— То есть — какой?

— Вы — добрый.

Вставая, я уронил шляпу, и Дэзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку; наши руки встретились на поднятой вместе шляпе.

— Зачем так? — сказал я мягко.— Я сам. Прощайте, Дэзи!

Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго, затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко охватила руками, вся прижавшись и трепеща.

Что не было мне понятно — стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духу отделаться шуткой.

— Дэзи! — сказал я.— Дэзи!

— Ну да, Дэзи; ну, что же еще? — шепнула она.

— Вы невеста.

— Боже мой, я знаю! Тогда уйдите скорей!

— Вы не должны,— продолжал я.— Не должны...

— Да. Что же теперь делать?

— Вы несчастны?

— О, я не знаю! Уходите!

Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом; последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Тоббогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.

— Были у нас? — сказал он.— Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован; взяли и матросов; да, почти всех. Отчего вы уходите?

— Я занят,— ответил я,— занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне.— Я дал адрес.— Я буду рад видеть вас.

— Этого я не могу обещать,— сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая.— Но если вы будете свободны в... Впрочем,— прибавил он с неловким лицом,— подробностей особенных нет. Мы утром уходим.

Пока я разговаривал, Тоббоган стоял, отвернувшись, и смотрел в сторону; он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженной к тому так наивно и грубо, которой он как бы вперед осуждал меня, я сказал:

— Тоббоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.

— Не знаю, нужно ли это,— неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза.— У меня на этот счет свое мнение.

Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее.

— Прощайте, Проктор! — сказал я шкиперу, пожимая обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Тоббоган двинулся и ушел, не обернувшись.— Прощайте! Я только что прощался с Дэзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение.

— Странно вы говорите,— отвечал Проктор.— Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. Плюньте на Тоббогана. Он сам не знает, что говорит.

— Да, он *не знает*, что говорит.

— Ну, вот видите! — Должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился.— Люди встречаются и расходятся. Не так ли?

— Совершенно так.

Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Больт.

— Со мной-то и забыли попрощаться,— весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов. Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: — Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы, такие события! Прощайте, желаю удачи!

Он махнул кепкой и побежал обратно.

Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дэзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо; и я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать? Но, кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо,— не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случаен и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем.

Я был мрачен и утомлен; устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествиях в Гель-Гью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к семи, после заката солнца, у Биче Сениэль.

ГЛАВА XXXI

Я застал в гостиной Биче и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена, Ботвель озабочен и напряжен.

— Много удалось сделать,— заявил он.— Я был у следователя, и он обещал, что Биче будет выделена из дела как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Биче, вы будете хоть еще раз покупать корабли?

— Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело,— обратилась она ко мне,— чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся па голову. Но нельзя было подумать.

— Негодяй умер,— сказал Ботвель.— Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей,— вы, неповинный и не замешанный ни в чем человек,— каково было *вам* высидеть около трупа эти часы?

— Мне было тяжело по другой причине,— ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей па меня с раздумьем и интересом.— Потому, что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они хотя и просты по существу, но странны, как встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке.

После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных, для каждого лица, условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Биче потребовала бумагу, что Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Биче сказала:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Я думал, что приду к вам.

Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшее ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила:

— Это я знаю. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...

Я ждал, встревоженный ее спокойствием больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась.

— Еще раз благодарю за участие,—сказала Биче.—Ботвель, вы принесли сломанный карандаш.

— Действительно,— ответил Ботвель.— Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю, вдруг очинится сам! Гарвей согласен со мной.

— В принципе — да!

— Однако возьмите ножик,— сказала Биче, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом.— Это и есть нужный принцип.

Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Биче недоверчиво пошатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу.

Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ею одной линии. Под этим чертежом Биче нарисовала контурные фигуры: мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни.

— Я не люблю рисовать,— сказала она и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой черту.— Нет. Это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?

— По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.

— Я говорил,—сказал Ботвель,

— Но дело простое,— настаивала Биче.— Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.

— Да, между нас это так бы было — без бумаг и формальностей. Но у дельца есть культ формы, а так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество,— незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.

— Я еще подумаю,— сказала Биче, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией.— Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Да, я не знаю. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?

— Почти наверное,— ответил я.— Но почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый *такой* шаг самой?

— Вы правы. Так будет приятнее и ему, и мне. Хотя... Нет, вы действительно правы. У нас есть план,— продолжала Биче, устраняя озабоченную морщину, игравшую между тонких бровей, меняя позу и улыбаясь.— План вот в чем: оставить пока все дела и отправиться на «Бегущую». Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства! Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться.

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Биче, так как вошли ее родственники, хозяева дома — старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых мяча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедясь, что они ничего не знают о моей истории.

— Вы приехали повеселиться, посмотреть, как тут гуляют? — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города.— Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал двенадцать лошадей. Карльсон выпустил «Океанию» —

замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лакотта в саду фонтан бил вином... О, как мы танцевали!

— Все не то,— сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл.— Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча восемьсот... ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули три пули. Из него — семь. Он помер.

Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох; стояли с трудом, и я попрощался с ними.

— Благодарю вас,— сказала старушка неожиданно твердым голосом,— вы помогли Биче устроить все это дело. Да, я говорю о пиратах. Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов.

— Очень, очень много пиратов! — сказал старик, печально качая головой.

Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Биче и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом:

— Все не то... не то... Очень много пиратов!

ГЛАВА XXXII

Отъезжая с Биче и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Биче, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетясь с явной линией, образовала узлы.

В экипаже я сидел рядом с Биче, имея перед собой Ботвеля, который, по многим приметам, был для Биче добрым приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры — того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Биче,

так же, как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импровизированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессий и кортежей; задавала тон самая ликующая часть населения — мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удили серпантином.

Выбравшись на набережную, Ботвель приказал вознице ехать к тому месту, где стояла «Бегущая по волнам», но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, почему наняли шлюпку. Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света, погрузясь в сумерки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал:

— Это она.

— Рады ли вы? — спросил я, наклоняясь к Биче.

— Едва ли.— Биче всматривалась.— У меня нет чувства приближения к той самой «Бегущей по волнам», о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплевавших на руки молодца-гиганта: «Замысел» и «Секрет».

— Это пройдет,— заметил Ботвель.— Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.

— Она как бы больна,— сказала Биче.—Недуг формальностей... и довольно жалкое прошлое.

— Сбилась с пути,— подтвердил Ботвель, вызвав смех.

— Говорят, нашли труп,— сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле.— У нас разное говорили...

— Вы ошибаетесь,— возразила Биче,— этого не могло быть.

Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.

— Эй, на «Бегущей»! — закричал, вставая, Ботвель.

Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который после недолгих переговоров,

приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап.

Тотчас прибежал еще один человек, за ним третий. Это были Гораций и повар. Мулат шумно приветствовал меня. Повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.

— Наконец-то! — сказала Биче тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась.— В каком же положении экипаж?

Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо; видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой.

На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос; все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Биче, стараясь уловить ее чувства.

Она еще не садилась. Пока Ботвель разговаривал с поваром и агентом, Биче обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете.

— Ну, так расскажите еще,— сказала Биче, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет незначительный и красноречивый.— Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли слева от трапа? Да? Тогда пойдемте в нее.

Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче положение действовавших лиц и как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза.

— Начинаю представлять,— сказала Биче.— Очень все это печально. Очень грустно! Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх.

— То чувство не проходит?

— Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна

иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было!

— Вы оскорблены?

— Да; это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, взойдемте наверх.

Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня, с волнением — и не ошибся: Биче остановилась у трапа.

— Вот отсюда,— сказала она, показывая рукой вниз за борт.— И — один! Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один!

— Как — один?! — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант. Но было уже поздно. Биче смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Биче, и это передалось ей.

— Гарвей,— сказала она с нежной и прямой силой, впервые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе,— Гарвей, скажите мне правду!

ГЛАВА XXXIII

— Я не лгал вам,— ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Биче дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя.— Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Биче, я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, «Бегущая по волнам».

— Но, Гарвей! — сказала Биче. При слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно.— Говорите тише!.. Я слушаю.

Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства, когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек—ударить выгибом дерева этого самодельного

оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело не ладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула.

Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Биче о том, что сказала мне Фрези Грант; как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь.

— Не говорить *мне,*— произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом.— Это надо понять. Но отчего вы сказали?

— Вы должны знать отчего, Биче.

— С вами раньше никогда не случалось таких вещей?..— спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.

— Нет, никогда.

— А голос, голос, который вы слышали, играя в карты?

— Один-единственный раз.

— Слишком много для одного дня,— сказала Биче, вздохнув. Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью; потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: — Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегодня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та — другая девушка? Вы ее встретили?

— Не знаю,— сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дэзи мне до того не приходила в голову, но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи.— Биче, от вас зависит,— я хочу думать так,— от вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня!

— Я вас очень мало знаю, Гарвей,— ответила Биче серьезно и стесненно.— Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что я — Биче Сениэль, и это мой вам ответ.

Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз:

— Ботвель! Мы едем!

Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро пони-

мающих пальцах, и спустился к лодке, где Биче и Ботвель ждали меня. Мы направились в город. Ботвель рассказал, что, как он узнал сейчас, «Бегущую по волнам» предположено оставить в Гель-Гью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.

Биче всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла:

— Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или... как придется.

— Что?! — крикнул Ботвель тоном веселого ужаса.

— Разве вы не поняли?

— Потом поговорим,— сказал Ботвель и, как лодка остановилась у ступеней каменного схода набережной, прибавил: — Чертовски неприятная история — все это вместе взятое. Но Биче неумолима. Я вас хорошо знаю, Биче!

— А вы? — спросила девушка, когда прощалась со мной.— Вы одобряете мое решение?

— Вы только так и могли поступить,— сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.

— Что же другое? — Она задумалась.— Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей! Я завтра извещу вас.

Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота, с примесью явного недовольства,— мной или собой? — я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.

Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Биче. Мне был нужен шум толпы. Заметя свободный кеб, взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрези Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кеба. Вначале я тупо и оглушенно стоял,— так было здесь тесно от движения и беспрерывных, следующих один другому в тыл, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль была: Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах; его пьедестал образовал конус

цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол; он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял, прижатый движением, как, поддаваясь беспрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны, противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бавс, Кук и другие, известные мне по вчерашней сцене.

Попав в центр, где движение, по точному физическому закону, совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг «Бегущей». За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на две или на три головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне, в порыве благодарности, что он занимает его с утра,— импровизированный промысел, наградивший пятнадцатилетнего сорванца золотой монетой.

Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего — эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, опахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади,— соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над площадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользивших горизонтально. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон пло-

щади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения; здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания.

Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета, с ладьеобразным низом и высоким сиденьем для кучера, но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон-Кихот, погоняя четверку богато убранных золотой, спадающей до земли сеткой лошадей огромным копьем. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и Робинзонов; они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание искусно сделанное двухсаженное сердце — из алого плюша. Оно было как живое; вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок; роль амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьем, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке, но, как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов; с правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика-нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление; и я, следя за ней, еще долго видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательства, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что

стряслось. Образовался прорыв; причем передние выезды отдалились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое, странного вида, сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик, с длинным навесом спереди; его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей; лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи, причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа; часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям; другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх; там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец.

Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень: так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику, и разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен «Бегущей». Внизу сбилась дико загремевшая толпа, я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз.

— Стегайте, бейте лошадей! — закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя.

Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов двадцать, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она по-

вернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор — стеариновую свечу, но поворот штамбы сунул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках; другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима.

Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время два-три человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но, так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был естественно и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителем; но я поспешил выбраться. Повсюду раздавались крики, что нападение — дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом, карнавал был смят, превращен в чрезвычайное, центральное событие этого вечера; по всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома.

Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слушать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

ГЛАВА XXXIV

Я проснулся один, в десять часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал, и, так как был только рад случайному одиночеству, я более не тревожил себя мыслями о его судьбе.

Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент «Рифа». Догадываясь, что могу увидеть Биче Сениэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Биче с искренним, невольным возгласом:

— Слава богу, что это вы, Биче, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.

Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль.

— Как вы бледны! — сказала, помолчав, девушка.— Да, я уезжаю; сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано потому, что... это необходимо.

Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Биче, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным, тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Биче, я видел лишь ее одну, и даже одна потерянная минута была страданием; но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извиняясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен.

Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Геза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии.

Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал:

— К сожалению, я не тот, которого вы ищете. Вы — жертва случайного совпадения имен: тот Томас Гарвей, который вам нужен, сегодня не ночевал. Он записан здесь под фамилией Ариногел Кук, и, так как он мне сам в том признался, я не вижу надобности скрывать это.

Благодаря тяжести, лежавшей у меня на сердце, потому что слова Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие. Бреннер насторожился; даже его уши шевельнулись от неожиданности.

— Одно слово... прошу вас... очень вас прошу,— поспешно проговорил он, видя, что я намереваюсь уйти.— Ариногел Кук?.. Томас Гарвей... его рассказ... может быть, вам известно...

— Вы должны меня извинить,— сказал я твердо,— но я очень занят. Единственное, что я могу указать, это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он — у стола, который занимает добровольная стража «Бегущей». На нем розовая маска и желтое домино.

Биче слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, поворотясь, кинулся аршинными шагами уловлять Кука.

Я подошел к Биче.

— Не будет ли вам лучше в саду? — сказал я.— Я вижу в том углу тень.

Мы прошли и сели; от входа нас заслоняли розовые кусты.

— Биче,— сказал я,— вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?

Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас же перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне открытое упорное выражение.

— Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос,— произнесла девушка.— Вчера... Гарвей! Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда немного и — много. Я женщина, и я вас очень

хорошо понимаю. Но оставим это пока. Вы мне рассказали о Фрези Грант, и я вам *поверила*, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслея; я не была с *вами* тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады! Но, если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы!

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам: два желтых платья, две «Бегущие по волнам» и — два человека в одном! — Она рассмеялась, но неспокоен был ее смех.— Да, я очень рассудительна,— прибавила Биче, задумавшись,— а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче,— сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя,— Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, *этого не было?!*

— Биче, это было,— сказал я.— Простите меня.

Она взглянула с легким, задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала.

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?

Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биче последний раз; последний раз говорю с нею; моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить.

— Да, я был там,— сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе, при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более что я поставил бы и Биче в необходимость затянуть конченый разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали.

— Итак, вы едете?

— Я еду сегодня.— Она протянула руку.— Прощайте, Гарвей,— сказала Биче, пристально смотря мне в глаза.— Благодарю вас от всей души. Не надо; я выйду одна.

— Как все распалось,— сказал я.— Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее — не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Биче! Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.

В ее лице тронулись какие-то оставшиеся непроизнесенными слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно, не имея сил, ни желания снова начать жить,— у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Биче.

— Если так,— сказал я в отчаянии,— если, сам не зная того, я стремился к одному горю — о Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть! Избавь меня от страдания!

Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гель-Гью, я сел вечером в шестичасовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант — за некий свой, тщательно охраняемый угол души — долго волновали меня как пример малого знания нашего о людях.

Я приехал в Лисс в десять часов вечера, тотчас направясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло, меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный и праздничный вид.

— Ах,— шепотом сказал он,— едва ли доктор может... Я даже не знаю, где он. Они бродят по всему дому — он и его жена. Тут у нас такое произошло! Только что, перед вашим приходом...

Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга тихо, как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя.

Я удалялся с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая среди вечерней тишины напомнила мне внезапный порыв Дэзи: единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит, шепча:

«Да, что же мне теперь делать»?

Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсказывая ответ:

«Гарвей, *этого не было?»*

— Было,— ответил я опять, как тогда.— Это было, Биче, простите меня!

ГЛАВА XXXV

Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже пять лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения.

Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведование иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмер и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью

я вспоминал о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности... Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее расстояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах.

Мои письменные показания, посланные в суд, происходивший в Гель-Гью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, которая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии; вероятно, по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле; Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Биче Бутлер был осужден всего на пять лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся.

Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дэзи, ворочая гремящее, не покидающее раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или же сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращает мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет. В противоположность

Биче, образ которой постепенно становится прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства,— неизвестно где находящаяся Дэзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове,— я спрашивал себя:

«Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?»

В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна — большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что, собственно, привлекло нас, почему такое рассматривание подобно разговору — настоящему, увлекательному общению. Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика-корабля, который, при полной соразмерности частей, способности принять фунтов пять груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческом, я решил, что каравелла будет моя.

Вдруг она исчезла. Исчезло все — улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг, но не настоящий, а испуг радости, смешанный с нежеланием освободиться и, должно быть, с глупой улыбкой, помешал мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что сейчас будет, и, мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил:

— Кто это такой?

— «Бегущая по волнам»,— ответил голос, который старался быть очень таинственным.— Может быть, *теперь* угадаете?

— Дэзи?! — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном.

— Простите мою дерзость,— сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть.— Ну, мне, однако, везет! Ведь это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади! Вы испугались?

Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал мосек; теперь эта собака смотрела на меня как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести.

— Дэзи, милая Дэзи,— сказал я,— я счастлив вас видеть! Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна? Ну, здравствуйте!

Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко, руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.

— Я вас люблю, Гарвей,— сказала она серьезно и кротко.— Вы будете мне как брат, а я — ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант?! Вы боялись мне сказать это?! С вами *это* случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что — так!

— Это — так,— ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор.—Вы одна в Леге?

Зная, *что* я хочу знать, она ответила, медленно покачав головой:

— Я одна, и я не знаю, где теперь Тоббоган. Он очень меня обидел тогда; может быть, и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала, и сказала также, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним,

плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал; еще и еще. Но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Тоббоган уехал в Кассет. Я здесь у жены Проктора; она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома, а у нас всего три тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку! Представьте себе! Теперь — вы. Что вы здесь делаете, и сделалась ли у вас жена, которую вы искали?

Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами.

— О, простите меня! Язык мой — враг мой! Ваша сестра очень глупа! Но вы меня вспоминали немного?

— Разве вас можно забыть? — ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дэзи.— Да, у меня сделалась жена, вот... теперь. Дэзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.

Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах потайные свечки нескромного любопытства.

— Уйдем отсюда,— сказала Дэзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар.— Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я буду сдержанной, но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Собака... ты тут. Ее зовут Хлопс. А надо бы назвать Гавс. Гарвей!

— Дэзи?!

— Ничего. Пусть будет нам хорошо!

ЭПИЛОГ

I

Среди разговоров, которые происходили тогда между Дэзи и мной и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения, особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план, почему его пришлось сократить. К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч, весьма помогших осуществить наше желание. Зная,

что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему приятелю Товалю, вкус которого, его умение заставить вещи говорить знал еще с того времени, когда Товаль имел собственный дом. Он скоро понял меня — тотчас, как увидел мою Дэзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшееся два года.

Для Дэзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать, поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общественности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество, хотя оно и менялось, такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дэзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама и только тогда, когда ей хотелось самой.

Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи или чистенькие, новенькие домики, с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном, запертой глухой дверью среди жасминной заросли; мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней; могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с затаенным коварством.

Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дэзи съез-

дить в Леге посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы я ей ни предложил, она немедленно согласилась и, по своему обыкновению, не спала до двух часов, все размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге и от станции проехали на лошадях к нашему дому, о котором я сказал ей, что здесь мы остановимся на два дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому.

На ее лице появилось так хорошо мне известное, стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал.

— Какой славный дом! — сказала Дэзи.— И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья.— Таковы бывали ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья,— ответил я.— Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тенью высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пылкие цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпившуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?»

Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо — так, что наступает на сердце.

Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказал Дэзи.— Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев,— ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком

ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет,— произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину,— хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина,— сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты,— ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой.— Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер! Ты говорил, что так зовут этого человека.— Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: «ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро рыедет».

— Ты что-то ешь?— сказала моя жена, заглядывая мне в лицо.— Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но, Дэзи,— умоляюще вздохнул Товаль,—чем же я виноват, что судья — здесь?!

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дурочка? — поставила она вопрос прямо.— Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы тоже, *может быть*, здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи, — сказал я, взяв ее за руку, — оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаля за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товаля, на Товаля и на меня.

— Поклянись, — сказала она, побледнев от радости, — поклянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. Тому же подвергся Товаль, старавшийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и когда он наконец кончился, в глазах Дэзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала:

— Не кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?

— Никогда!

— Ну, а у меня жалкий характер; как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят; что мне не будет уже хорошо...

II

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший среди других просто хороших дней — наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она — сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по поводу ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бегущей по волнам», и о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды нача-

лись воспоминания и продолжались, с перерывами, целый день, за завтраком, обедом, прогулкой, между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах в Гель-Гью и на «Нырке», который, кстати сказать, разбился год назад на рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно вставало и требовало обсуждения, и мы немедленно принимались переживать тот или другой случай, с жалостью, что он не может снова повториться теперь — без неясного своего будущего. Было ли это предчувствие, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта,— сказать может лишь нелюбовь к своей жизни, равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сениэль, которую я любил.

— Вот эти глаза видели Фрези Грант,— сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам.— Вот эта рука пожимала ее руку.— Она прикоснулась к моей руке.— Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдумаешься *туда*, но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпать. И это не перейдет ни в кого; оно только в тебе!

Стемнело; сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь и улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал:

— «Бегущая по волнам»!

— Филатр! — вскричал я, подскакивая и вставая.— Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из виду после тех трех месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили, не то в Салер, не то в Дибль. Я сам провел два года в разъездах. Как вы нас разыскали?

Мы вошли в дом, и Филатр рассказал нам свою историю. Дэзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись, по своему обыкновению, досказывать за

Филатра, если он останавливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда невпопад, как то или это происходило,— верный признак, что она слушает очень внимательно.

Оказалось, что Филатр был назначен в колонию прокаженных, миль двести от Леге, вверх по течению Тавассы, куда и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего.

— След найден,— сказал Филатр,— я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем «Мария Целеста», о которой рассказывали вы на «Нырке». Это...

— «Бегущая по волнам»!— быстро подстегнула его плавную речь Дэзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу».

— Вы правы. Я упомянул «Марию Целесту». Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив; я и два служащих биологической станции из Оро, с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве, по правую сторону острова Капароль, и мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дрова. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте сотни небольших островков, и маневры катера по изливам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся лиственным навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе и проснулся рано, хотя уже рассвело.

Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшее в двух кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня, сонного, швырнули с постели в воду, я взобрался на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, разодрав в клочья куртку: так было густо заплетено вокруг, среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это

была «Бегущая по волнам», судно, покинутое экипажем, оставленное воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала на боку, на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, так как весла лежали рядом, достиг судна, взобравшись на палубу по якорному тросу, с кормы.

По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой; у бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами, раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво-зловещую жизнь, скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно, нравственно душно, как если бы и меня похоронили здесь, причислив к жукам. Я опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик; везде был голый беспорядок, полный мусора и москитов. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я предоставил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к «Бегущей», и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшимся забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы в надежде открыть следы людей. Но журнала и никаких бумаг не было; лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика, застрял обрывок письма; он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь.

Могу ли я надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел... Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне.

Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные, красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший

дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную по всему устойчивому на их пути армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь взад-вперед очень близко от клотика грот-мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придержанный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснувшись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна.

Дэзи, став тихой, неподвижно смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза.

— Что с тобой? — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр.

— О,— прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться.— Это так прекрасно! И так грустно, и так хорошо, что это все — так!

Я имел глупость спросить, чем она так поражена.

— Не знаю,— ответила Дэзи, вытирая глаза.— Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор.

Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой.

Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе «Бегущей». Лишь спустя два месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана Эку Летри за полцены и ушла в Аквитэн тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, не известного никому плана, или спаслась в дебрях реки от преследований врага; вымер ли ее экипаж от эпидемии или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей — узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Тавассе стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей, но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. «Бегущая» была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер, так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно, с репутацией, питающей суеверия.

— Но этого не довольно для меня и вас,—сказал Филатр, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сениэлей.— Не дальше как вчера я встретил молодую даму — Биче Сениэль.

Глаза Дэзи высохли, и она задержала улыбку.

— Биче Сениэль? — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе.

— Биче Каваз.

Филатр задержал паузу и прибавил:

— Да. На пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Каваз, был с ней. Его жене нездоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас. Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства, иного порядка, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля «Бегущая по волнам», я счел нужным рассказать, что́ видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из спокойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне в свою очередь о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне вас на шлюпке вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гель-Гью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Биче Каваз о ее отношениях к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости — издали, как берег смотрит на другой берег, через синюю равнину воды.

«Он мог быть более близок вам, дорогая Биче,— сказал Гектор Каваз,— если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».

«Нет, жизнь,— ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой.— В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от

которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

«Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.

«Почему? — она искренне удивилась.— Мне хочется всегда быть только собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»

«Или грандиознее», — ответил я, соглашаясь с ней.

У нее был небольшой жар — незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности; впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил Товаля, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что я тот самый доктор Филатр, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бросив дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче Каваз просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.

Он порылся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на Дэзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».

— Только-то...— сказала разочарованная Дэзи.— Я ожидала большего.— Она встала, ее лицо загорелось.— Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит,— там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет». И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, дано всем: возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!»

Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр,— так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

— Ну вот,— сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая,— добрый вечер и тебе, Фрези!

— Добрый вечер! — услышали мы с моря.— Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...

1928 [1]

---

[1] Здесь и далее дата первой публикации.— *Ред.*

РАССКАЗЫ

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

I

Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться и шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд,— самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «Школа», «Гостиница», «Тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы,— начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, оставшись лишь в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило

ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, было гнусное, недостойное порядочного человека похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор, вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки, или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.

Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе. «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне»,— сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня; она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.

Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то похожее на слова.

Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его тем не менее к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После

долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вблизи деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову куда угодно.

Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы Кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.

Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!

Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все — сон, откидывал голову и, стукаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и медленнее затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.

— И вы... посмотреть,— тихо сказал Гоан.— Уйдите, простите!

— Я сейчас и уйду,— произнесла торопливым шепотом девушка.— Но вы не защищались, зачем вы допустили все это?

— Ах! — сказал Гоан.— Слова сожаления. Но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите. Нет, не уходите... или уйдите, пожалуй, это самое лучшее.

— Мне ужасно жаль вас.— Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением.— Ну что вы, не плачьте. Вы... или нет, я уйду, увидят.

Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.

В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.

— Для вас, Дэзи,— сказал Гоан,— только для вас.

II

Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.

— Велено отпустить,— пробормотал он, откашливаясь.— Так смотри... не шляйся в здешних местах.

Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.

Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен — все указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.

Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на зна-

комое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекшую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком,— земля большая.

На повороте к горам, где за синей далью чащи шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле. Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.

Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:

— Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.

Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.

— Отец оскорбил меня,— продолжала Дэзи.— Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблений.

— Милая,— сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица,— мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами... а женщины — за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: клянусь — я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!

Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая — давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.

Они жили долго и умерли в один день.

1911

ЛЕАЛЬ У СЕБЯ ДОМА

I

Пока лаяла цепная собака, вор не особенно беспокоился. Ленивый, вопросительный лай ясно указывал на отсутствие у собаки сильных, воинственных подозрений. Верхним чутьем она слышала посторонний запах, мелькавший обрывками в ровном ветре, дующем со стороны дома, но это могло быть также запахом с улицы.

Вор переходил из комнаты в комнату, водя огненным кружком карманного фонаря по обоям и столам, скрытым тьмой. Он только что пробрался в дом и еще не вполне ориентировался. Целью поисков был кабинет или будуар. Временами, прислушиваясь, он гасил свет и двигался ощупью. Наконец он различил так хорошо знакомый его опытному носу запах женщины, сложный букет парфюмерии, цветов, материи и чистоты. Чистота и опрятность, свойственная женщинам, имеют, как известно, свой запах, несравнимый, как запах сена, о котором так и говорят: запах сена.

Вор остановился, и огненный глаз фонарика начал буравить тьму, останавливаясь на различных предметах. Мошенник облегченно вздохнул, поняв, что попал не в спальню. Это был будуар — место, где иногда оставляют драгоценные вещи. Вор осмотрел каминную доску, столики, пожал с видом недоумения плечами и двинулся к письменному столу.

За стеной скрипнула дверь, кто-то кашлянул и и спросил: «Ты слышишь?» Женский голос ответил: «Нет».— «Мне показалось, что кто-то ходит, пойду посмотрю, я помню, что дверь на балкон открыта». Мужской голос смолк, и неторопливые шаги раздались в коридоре.

Вор быстро открыл окно, схватил по пути небольшую шкатулку и прыгнул в сад, попав на подбросившие его упругие кусты жимолости. Собака, рванув цепь, залаяла хриплым басом, беснуясь и угрожая. Вор бросился к садовой решетке, перескочил ее и побежал в сторону канала, в прикрытие глухих переулков. Бежал он ровно, без особенного страха и без особенного огорчения; состояние его духа напоминало кислую гримасу игрока, игравшего весь вечер вничью. Шкатулку он крепко держал под мышкой, рассчитывая

вознаградить себя, в случае пустоты ее или бесценности,— удовольствием сковырнуть замок. Без этого привычного действия он считал бы почь окончательно потерянной во всех смыслах.

II

Ночной трактир «Астра» приютил с месяц назад бледного человека с породистым и пьяным лицом, одетого в нечто напоминающее одежду. Он просил милостыню и пропивал ее. Его приставания к прохожим были подчас резки и уныло назойливы, иногда — вежливы и своеобразно изящны. Он знал языки. В его манерах сохранился намек на большое и, может быть, блестящее прошлое. У него были седые виски и хриплый, но мягкий голос. Среди нищих и хулиганов его звали Жетон, а настоящее имя выговаривалось: Леаль Ар.

Часа полтора спустя после похищения шкатулки из виллы Ассун, Жетон сидел в «Астре» у липкого столика без водки и табаку. По углам шептались или, посадив на колени женщин, спаивали их до истерики и потери сознания. Леаль Ар думал о беспроволочном телеграфе Маркони. Он любил, выбрав какой-либо предмет, чуждый печальному настоящему, мысленно уходить от «Астры» и самого себя.

Вошел человек с пытливым и деловым лицом. Это был вор Зитнер, завсегдатай «Астры». Леаль Ар пристально смотрел на него, ожидая в случае успешных дел Зитнера грошовой подачки и, как всегда, порции спирта. Зитнер медленно подошел к нему и сел рядом. Ар вздрогнул. Взгляд Зитнера ощупывал его, мерял, изучал и спрашивал. Ар покорно молчал.

— Жетон,— заговорил Зитнер,— то, что я расскажу тебе, никто не должен знать, кроме нас. Если тебе надоели объедки, скверная водка и ночлеги на свалках — держи язык за зубами. Ты можешь хорошо, очень хорошо заработать.

— Водки,— сказал Ар.— Меня трясет, и я понимаю тебя плохо.

— Есть.— Зитнер мигнул стойке.— Сова, дайте водки, один стакан и большой. Слушай, Жетон. Я украл письма, большой пук любовных писем к богатой замужней женщине. Это чистые деньги. Письма были

в шкатулке, я бросил ее в канал. За письма дадут десятки, а может быть, сотни тысяч. Смекни. Мне некого послать с ними, кроме тебя. Шантаж должен сделать джентльмен; простому вору дадут по шее или дадут в десять раз меньше, чем следует. Мошенник крупного полета, каким ты должен показаться той даме, особенно если тебя одеть с иголочки, вытрезвить и надушить, внушит страх и почтение. А за почтение надо платить дорого.

— Недурно,— сказал Ар.

— Да. Я вижу, кто ты. Ты барин. Для этого дела, Жетон, нужен барин.

Ар думал и напивался. Он пил большими глотками, быстро хмелея. Слова Зитнера наполнили «Астру» призраками. Ар промотал состояние и хорошо знал, что дают деньги. Лучезарное сияние их коснулось его души. Он пил и был в прошлом упоительном, как величавый, певучий бал, полный праздничных лиц.

«Последняя гадость,— сказал он мысленно,— последняя — и новая жизнь. Мне дадут ее деньги, много денег». Он грустно и решительно улыбнулся.

— Я готов,— сказал Ар.— Что нужно делать теперь?

— Иди.

III

Было совсем светло, когда Зитнер разбудил Ара. В просторной, хорошо обставленной комнате появился грибообразный старик с замкнутым и ехидным лицом. Ар лежал на кушетке; ему было удобно, мягко и весело.

— Приготовил? — спросил старика Зитнер.— Чтобы лучший сорт.

— Это что,— старик протянул руку.— Денег, денег мне надо, бестия. Уплатил бы?!

— Вечером.

— Сбежишь?

— Дурак. Идем, господин Жетон.— Зитнер провел Ара небольшим коридором к двери, откуда слышалось журчанье воды.— Жетон, ты вымоешься. В соседней комнате лежит твой костюм. После всего этого я послужу тебе парикмахером.

Ар остался один. Ванна! С волнением смотрел он на этот давно не виданный им предмет комфорта. Вода шумно текла из крана, взбивая прозрачную пену.

Леаль разделся и окунул ногу, но тотчас же отдернул ее. «Варвары! Это сорок градусов»,— пробормотал он, опустив градусник, и тотчас пустил холодной воды. Тщательно, с неописуемым наслаждением вымылся он с головы до ног. Теперь руки дрожали меньше, и он чувствовал себя гораздо бодрее. Метаморфоза забавляла его, как ребенка. Он прошел в соседнюю комнату и расплакался, увидев дорогое белье.

Чудесный язык вещей заговорил и пленил его. Первые движения Ара были торопливы и нервны, но уже через десять минут сказались незабываемые привычки некогда модного льва. Ар неторопливо застегивался, повертываясь перед зеркалом. Смутны и торжественны были его мысли. Рассеянный бег их подсказывал многое из того, с чем он одевался во все лучшее десять лет назад. Забытые лица, встречи, улыбки и разговоры подымались из глубин памяти, подобно золотым рыбкам, гоняющимся за мошкарой. Ар оделся и вышел.

— Жетон,— глубокомысленно сказал Зитнер и смолк. Перемена наружности Ара поразила его. Пожилой, бодрый господин с немного надменным лицом стоял посреди комнаты.

— Мне нравится черный галстук,— сказал Ар,— сбегайте-ка за ним, Зитнер.

IV

В четыре часа пополудни наемная карета везла Ара по набережной. В кармане его лежало одно из писем. Его он должен был предъявить в доказательство похищения.

По дороге он узнавал — не механически, как в весь долгий период темного, унизительного падения, а по-старому — некоторые дома, углы улиц, скверы и церкви. Здесь он расстался с Гинером, убитым на дуэли, в том магазине покупал жемчуг для невесты сестры; в этом доме познакомился с Риверсами, там флиртовал с цыганкой, увезенной затем на автомобиле к южному морю.

Как быстро, как ужасно быстро прошло все. Ему показалось, что всадник, обогнавший его,— старый друг Тилли, и вся кровь бросилась ему в лицо от не-

ожиданности. Дело, которое ехал он выполнить, Тилли не мог одобрить. Он дал бы ему пощечину и отвернулся, если б узнал об этом.

— Я,— сказал Ар,— я, Леаль Ар, шантажист.— Но слово это ничего не говорило ему. Сознание его дремало. Он не мог представить, как произойдет все. Он относился к этому как к необходимой, тяжкой и болезненной операции и старался не думать.

Карета остановилась. Леаль расплатился и нащупал письмо. Для большей верности он вынул его; это было точно — письмо, данное Зитнером. Теперь Леаль сильно и тягостно волновался. Желая успокоиться, он остановился у входа, развлекаясь чтением похищенного письма. Это было старое, выцветшее письмо, полное нежных, горячих слов и ласки; письмо, писанное его рукой, его почерком, на его любимой, зеленоватой бумаге,— адресованное Марии Клер.

Карета давно отъехала. Над палисадом, в солнечной пыли переулка носились синие стрекозы и пчелы. Сады пышно дремали. У каменного косяка двери бился головой и рыдал Леаль Ар.

— Здесь нет свежих устриц! — насмешливо пробормотал газетчик, увидев входящего в рыночный подвальчик с крепкими напитками изящного господина навеселе. Вошедший, по-видимому, не нуждался в устрицах: он попросил водки и повторил это три раза.

Трактир закрывался.

— Идите домой, господин! — крикнул слуга, толкая заснувшего за столом Ара.

— Разве я не дома? — сказал Ар.— Я дома, но вы не видите этого. Я дома, откуда сейчас гоните вы меня, но скоро — да, скоро — приду к вам.

1915

КАПИТАН ДЮК

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди зацветающего картофеля, рассаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной

безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопаткой вокруг картофельных кустиков, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непривычным для него орудием в самые корни картофеля, отчего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу, человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

— Так, так, Дюк,— сказал он себе,— далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет, изнуряйся, постись и смирись, и не сметь тебе даже вспоминать, например, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм... хорошо делал соус в котле...— Дюк яростно ткнул лопаткой в землю.— Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаясь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как у Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопаткой Дюка, он издали закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

— Радуюсь и торжествую! — закричал Варнава пронзительным голосом.— Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

— Много камней,— пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым

пальцам Варнавы.— Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро, для очищения помыслов.

— И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки божьей благодати, несомненно, вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смущался твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос, изгрызенные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

— Что говорить,— печально объяснил Дюк, постукивая лопаткой.— Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? — около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке линьком. Но этот мерзавец...

— Брат Дюк! — укоризненно вздохнул Варнава.— Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

— Еще «Марианну» вспомнил утром,— тихо прошептал он.— Мысленно перецеловал ее всю от рымов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости — я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не сметь тебе сниться мне! Теперь только я понял, что спасение души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками. Да. Извините меня, брат Варнава.

Выплакав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

— Брат мой! — сказал он проникновенно.— Отрешись от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества, земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой — ясное небо, где плывут небесные корабли облака, и тихий ветерок обвевает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя — символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу, а деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

— Хорошо,— сказал он через силу.— Пропадай все. Пропадать так пропадать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно посматривая на капитана.

— Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

II

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого — обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью — Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые — группами, женатые — обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовали деньжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смиренно скрестив на груди руки, парень удалился, гримасничая и пятясь задом, а капи-

тан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл Библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя, для большей вкусности, рукою по животу и крякнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» — подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не думать о запретных вещах, капитан открыл Библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно,— размышлял он,— иначе он мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем — неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его. «Чиркнул бы ножиком по волосам,— сказал Дюк,— и мог бы удрать. Странный чудак!» Но зато очень понравилось ему поведение Ноя. «Сыновья-то были телята, а старик молодец»,— заключил он и тут же понял, что попал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым вилась лента проезжей дороги. В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то, смутно знакомое Дюку, испуганное лицо и спряталось.

— Кой черт там глазеет? — закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. Повар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба, сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

— Это что такое?! — вскричал капитан.— Откуда вы? Что расселись! Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, сдернув шапки.

— Сигби,— взволновался капитан,— я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

— Да, капитан.

— Все прочли?

— Все, капитан.

— Сколько раз читали?

— Двадцать два раза, капитан, да еще двадцать третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

— Поняли вы это письмо?

— Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигавшие глаза рукавом блузы.

— Как не поняли? — загремел Дюк.— Вы, непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги, где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

— Сказано, капитан.

— Ну?

Сигби вытащил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву:

— «Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на «Марианне» и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся — письмо это, составленное с большим трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

— Да,— сказал Дюк, вздыхая,— да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

— Для вас это мы захватили,— испуганно прошептал Сигби,— это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

— Я вижу, что вы желаете моей погибели,— горько заявил Дюк,— но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот, я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько — не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаяться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

— Прячут вас, капитан,— сказал долговязый Фук,— все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое-кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

— Нет, все кончено,— хмуро заявил Дюк,— я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

— Ну, что на «Марианне»? — отрывисто спросил он.

— Напились все с горя,— сморкаясь, произнес Фук,— третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас — скоропортящиеся фрукты; ругается на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке, в вашей каюте, и говорит, что вы не капитан, а собака.

— Как — собака? — сказал Дюк, бледнея от ярости.— Как — собака? — повторил он, высовываясь из окна к струсившим матросам.— Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя швабр-ра! Вот как! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби, и ты, Фук, убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. Капитан скрипнул зубами.

— Обязательно вычистить и проветрить трюмы,— сказал он, вздыхая,— покрасить клюзы и камбуз да как следует прибрать в подшкиперской. Я знаю, у вас там такой порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом

отправьте «Марианну» в док и осмотрите ее. Палубу, если нужно, поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, что вино — гибель, опасайтесь его, дети мои. Прощайте!

— Что ж, капитан,— сказал ошарашенный всем виденным и слышанным Сигби,— вы, значит, переходите, так сказать, в другое ведомство? Ладно, пропадай все. Фук, идем. Скажи, Фук, спасибо *этому* капитану.

— За что? — невинно осведомился капитан.

— За то, что бросили нас. Это после того, что я у вас служил пять лет, а другие и больше. Ничего, спасибо. Фук, идем.

Фук подхватил узелок, и оба, не оглядываясь, удалились решительными шагами в ближайший лесок — выпить и закусить. Едва они скрылись, как Варнава появился в дверях комнаты, с глазами, поднятыми вверх, и руками, торжественно протянутыми вперед, к смущенному капитану.

— Я слышал все, о брат мой,— пропел он речитативом,— и радуюсь одержанной вами над собою победе.

— Да, я продам «Марианну»,— покорно заявил Дюк,— она мешает мне, парни приходят с жалобами.

— Укрепись и дерзай,— сказал Варнава.

— Двадцать узлов в полном ветре! — вздохнул Дюк.

— Что вы сказали? — не расслышал Варнава.

— Я говорю, что бойкая была очень она, «Марианна», и руля слушалась хорошо. Да, да. И четыреста тонн.

III

Матросы сели на холмике, заросшем вереском и волчьими ягодами. Прохладная тень кустов дрожала на их унылых и раздраженных лицах. Фук, более хладнокровный, человек факта, далек был от мысли предпринимать какие-либо шаги после сказанного капитаном; но саркастический, нервный Сигби не так легко успокаивался, мирясь с действительностью. Развязывая отвергнутый узелок, он не переставал бранить Голубых Братьев и называть капитана приличными случаю именами вроде дохлой морской свиньи, сумасшедшего кисляя и т. д.

— Вот пирог с ливером,— сказал Сигби.— Хороший пирожок, честное слово. Что за корочка! Прямо как позолоченная. А вот окорочек, Фук; раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Грог согрелся, но мы его похолодим в соседнем ручье. Да, Фук, настали черные дни.

— Жаль, хороший был капитан,— сказал Фук.— Право, капиташа был в полной форме. Тяжеловат на руку, да; и насчет словесности не стеснялся, однако лишнего ничего делать не заставлял.

— Не то, что на «Сатурне» или «Клавдии»,— вставил Сигби,— там, если работы нет, обязательно ковыряй что-нибудь. Хоть пеньку трепли.

— Свыклись с ним.

— Сухари свежие, мясо свежее.

— Больного не рассчитает.

— Да что говорить!

— Ну, поедим!

Начав с пирога, моряки кончили окороком и глоданием кости. Наконец, швырнув окорочную кость в кусты, они принялись за охлажденный в ключе грог. Когда большой глиняный кувшин стал легким, а Фук и Сигби тяжелыми, но веселыми, повар сказал:

— Друг Фук, не верится что-то мне, однако, чтобы такой моряк, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас, кормит и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. Вышибем его от Голубых Братьев.

— Чего из них вышибать,— процедил Фук,— когда разума нет.

— Не разума, а капитана.

— Трудновато, дорогой кок, думаю я.

— Нет,— возразил Сигби,— сам я действительно не знаю, как поступить, и не решился бы ничего придумать. Но знаешь что? Спросим старого Бильдера.

— Вот тебе на! — вздохнул Фук.— Чем здесь поможет Бильдер?

— А вот! Он в этих делах собаку съел. Попутайся-ка, мой милый, семьдесят лет по морям — так будешь знать все. Он,— Сигби сделал таинственные глаза,— он, Бильдер, был тоже пиратом... в молодости, да, грешил и... тсс!.. — Сигби перекрестился.— Он плавал на голландской летучке.

— Врешь! — вздрогнув, сказал Фук.

— Упади мне эта сосна на голову, если я вру. Я сам видел на плече у него красное клеймо, которое, говорят, ставят духи Летучего Голландца, а духи эти без головы и, значит, без глаз; а поэтому сами не могут стоять у руля, и вот нужен им бывает всегда рулевой из нашего брата.

— Н-да... гм... тпру... постой... Бильдер... Так это, значит, в «Кладбище кораблей»?!

— Вот, да, сейчас за доками.

— И то правда,— ободрился Фук.— Может, он и уговорит его не продавать «Марианну». Жаль, суденышко-то очень замечательное.

— Да обидно ведь,— со слезами в голосе сказал Сигби,— свой ведь он, Дюк этот несчастный, свой товарищ, бестия морская. Как без него будем, куда пойдем? На баржу, что ли? Теперь разгар навигации, на всех судах все комплекты полны; или ты, может быть, не прочь юнгой трепаться?

— Я? Юнгой?

— Так чего там. Тронем к старцу Бильдеру. Заплачем, в ноги упадем: помоги, старый разбойник!

— Идем, старик!

— Идем, старина!

И оба они, здоровые, в цвете сил, люди, нежно называющие друг друга «стариками», обнявшись, покинули холм, затянув фальшивыми, но одушевленными голосами:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.
Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас на саллинг взять
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

IV

Бильдер, или Морской Тряпичник, как называла его вся гавань, от последнего чистильщика сапог до элегантных командиров военных судов, прочно осел в Зурбагане с незапамятных времен и поселился в пес-

чаной, заброшенной части гавани, известной под именем «Кладбище кораблей». То было нечто вроде свалочного места для износившихся, разбитых, купленных на слом парусников, барж, лодок, баркасов и пароходов, преимущественно буксирных. Эти печальные останки когда-то отважных и бурных путешествий занимали площадь не менее двух квадратных верст. В рассохшихся кормах, в дырявых трюмах, где свободно гулял ветер и плескалась дождевая вода, в жалобно скрипящих от ветхости капитанских рубках ютились по ночам парии гавани. Странные процветали здесь занятия и промыслы... Бильдер избрал ремесло тряпичника. На маленькой парусной лодке с небольшой кошкой, привязанной к длинному шкерту, бороздил он целыми днями Зурбаганскую гавань, выуживая кошкой со дна отбросы, затем, сортируя их, продавал скупщикам. Кроме того, он играл роль оракула, предсказывая погоду, счастливые дни для отплытия, отыскивал удачно краденое и уличал вора с помощью решета. Контрабандисты молились на него: Бильдер разыскивал им секретные уголки для высадок и погрузок. При всех этих приватных заработках был он, однако, беден как церковная крыса.

Прозрачный день гас, и солнце зарывалось в холмы, когда Фук и Сигби, с присохшими от жары языками, вступили на вязкий песок «Кладбища кораблей». Тишина, глубокая тишина прошлого окружала их. Вечерний гром гавани едва доносился сюда слабым, напоминающим звон в ушах, бессильным эхо; изредка лишь пронзительный вопль сирены отходящего парохода нагонял пешеходов или случайно залетевший мартын плакал и хохотал над сломанными мачтами мертвецов, пока вечная прожорливость и аппетит к рыбе не тянули его обратно в живую поверхность волн. Среди остовов барж и бригов, напоминающих оголенными тимберсами чудовищные скелеты рыб, выглядывала изредка полузасыпанная песком корма с надписью, тревожной для сердца, с облупленными и отпавшими буквами. «Надеж...» — прочел Сигби в одном месте, в другом — «Победитель», еще дальше — «Ураган», «Смелый»... Всюду валялись доски, куски обшивки, канатов, трупы собак и кошек. Проходы между полусгнивших судов напоминали

своеобразные улицы, без стен, с одними лишь заворотами и углами. Бесформенные длинные тени скрещивались на белом песке.

— Как будто здесь,— сказал Сигби, останавливаясь и осматриваясь.— Не видно дымка из дворца Бильдера, а без дымка что-то я позабыл. Тут как в лесу... Эй!.. Нет ли кого из жителей? Эй! — последние слова не прокричал даже, а проорал, и не без успеха: через пять-шесть шагов из-под опрокинутой расщепленной лодки высунулась лохматая голова, с печатью приятных размышлений в лице, и бородой, содержимой весьма беспечно.

— Это вы кричали? — ласково осведомилась голова.

— Я,— сказал Сигби,— ищу этого колдуна Бильдера, забыл, где его особняк.

— Хороший голос,— заявила голова, покачиваясь,— голос гулкий, лошадиный такой. В лодке у меня загудело, как в бочке.

Сигби вздумал обидеться и набирал уже воздуху, чтобы ответить с достойной его самолюбия едкостью, но Фук дернул повара за рукав.

— Ты разбудил человека, Сигби,— сказал он,— посмотри, сколько у него в волосах соломы, пуху и щепок; не дай бог тебе проснуться под свой собственный окрик.

Затем, обращаясь к голове, матрос продолжал:

— Укажите, милейший, нам, если знаете, лачугу Бильдера, а так как ничто на свете даром не делается, возьмите на память эту регалию.— И он бросил к подбородку головы медную монету. Тотчас же из-под лодки высунулась рука и прикрыла подарок.

— Идите... по направлению киля этой лодки, под которой я лежу,— сказала голова,— а потом встретите овраг, через него перекинуто бревно...

— Ага! Перейти через овраг,— кивнул Фук.

— Пожалуй, если вы любите возвращаться. Как вы дошли до оврага, не переходя его, берите влево и идите по берегу. Там заметите высокий песчаный гребень, за ним-то и живет старик.

Приятели, следуя указаниям головы, вскоре подошли к песчаному гребню, и Сигби, узнав местность, никак не мог уяснить себе, почему сам не отыскал сразу всем известной площадки. Решив наконец, что у него «голова была не в порядке» из-за «этого ре-

негата Дюка», повар повел матроса к низкой двери лачуги, носившей поэтическое название: «Дворец Бильдера, Короля Морских Тряпичников», что возвещала надпись, сделанная жженой пробкой на лоскутке парусины, прибитом под крышей.

Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца», за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко. Весь эффект здания представляла искусственно выведенная стена; в состав ее, по разряду материалов, входили:

1) доски, обрубки бревен, ивовые корзинки, пустые ящики;

2) шкворни, сломанный умывальник, ведра, консервные жестянки;

3) битый фаянс, битое стекло, пустые бутылки;

4) кости и кирпичи.

Все это, добросовестно скрепленное палками, землей и краденым цементом, образовало стену, к которой можно было прислониться с опасностью для костюма и жизни. Лишь аккуратно прорезанная низкая дощатая дверь да единственное окошко в противоположной стене — настоящий круглый иллюминатор — указывали на некоторую архитектурную притязательность.

Сигби толкнул дверь и, согнувшись, вошел, Фук за ним. Бильдер сидел на скамейке перед внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный деревянный бочонок с краном — таково было убранство дворца, за исключением кучи, к которой Бильдер относился сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших. К великому удивлению Фука, ожидавшего увидеть полураздетого, оборванного старика, он убедился, что Бильдер для своих лет еще большой франт: суконная фуфайка его, подхваченная у брюк красным поясом, была чиста и прочна, а парусинные

брюки, запачканные смолой, были совсем новые. На шее Бильдера пестрело даже нечто вроде цветного платка, скрученного морским узлом. Под шапкой седых волос, переходивших в такие же круто нависшие брови и щетинистые баки, ворочались колючие глаза-щели, освещая высохшее, жесткое и угрюмое лицо застывшей усмешкой.

— Здр... здравствуйте,— нерешительно сказал Сигби.

— Угу! — ответил Бильдер, посмотрев на него сбоку взглядом человека, смотрящего через очки.— Кх! Гум!

Он вытащил из кучи рваную женскую галошу и бросил ее в разряд более дорогих предметов.

— Помоги, Бильдер! — возопил Сигби, в то время как Фук смотрел поочередно то в рот товарищу, то на таинственный бочонок в углу.— Все ты знаешь, везде бывал и всюду... как это говорится... съел собаку.

— Ближе к ветру! — прошамкал Бильдер, отправляя коровий череп в коллекцию костяного товара.

Сигби не заставил себя ждать. Оттягивая рукой душивший его разгоряченную шею воротник блузы, повар начал:

— Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они! Не хочу и не хочу жить, говорит, с вами, язычниками, и сам я язычник. Хочу спасаться. Мяса не ест, не пьет и не курит и судно хочет продать. До чего же обидно это, старик! Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что только на палубе кусок можем свой заработать?.. Ну, рассуди, Бильдер, хорошо ли стало теперь: пошло воровство, драки; водку — не то что пьют, а умываются водкой; «Марианна» загажена; ни днем, ни ночью вахты никто не хочет держать. Ему до своей души дела много, а до нашей — тьфу, тьфу! Но уж и поискать такого в нашем деле мастера, разумеется, кроме тебя, Бильдер, потому что, как говорят...

Сигби вспомнил Летучего Голландца и, струсив, остановился. Фук побледнел: мгновенно фантазия нарисовала ему дьявольский корабль-призрак с Бильдером у штурвала.

— Угу! — промычал Бильдер, рассматривая обломок свинцовой трубки, железное кольцо и старый ве-

ревочный коврик и, по-видимому, сравнивая ценность этих предметов. Через мгновение все они, как буквы из руки опытного наборщика, гремя, полетели к своим местам.

— Помоги, Бильдер! — молитвенно закончил взволнованный повар.

— Чего вам стоит! — подхватил Фук.

Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лукаво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на некоторую задумчивость.

— Как зовут? — хрипнул беззубый рот.

— Сигби, кок Сигби.

— Не тебя; того дурака.

— Дюк.

— Сколько лет?

— Тридцать девять.

— Судно его?

— Его, собственное.

— Давно?

— Десять лет.

— Моет, трет, чистит?

— Как любимую кошку.

— Скажите ему,— Бильдер повернулся на скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным смехом дряхлого прошлого,— скажите ему, щенку, что я, Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: никогда в жизни капитан Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Проваливайте!

Сказав это, старик подошел к таинственному бочонку, нацедил в кружку весьма подозрительно ароматической жидкости и бережно проглотил ее. Не зная — недоумевать или благодарить, плакать или плясать, повар вышел спиной, надев шапку за дверью. Тотчас же вывалился и Фук.

Фук не понимал решительно ничего, но повар был человек с более тонким соображением; когда оба, усталые и пыльные, пришли наконец к харчевне «Трезвого странника», он переварил смысл сказанного Бильдером и, хоть с некоторым сомнением, но все-таки одобрил его.

— Фук,— сказал Сигби,— напишем, что ли, *этому* Дюку. Пускай проглотит пилюлю от Бильдера.

— Обидится,— возразил Фук.

— А нам что. Ушел, так терпи.

Сигби потребовал вина, бумаги и чернил и вывел безграмотно, но от чистого сердца следующее:

«Никогда Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются».

Экипаж «Марианны»

Хмельные поплелись товарищи на корабль. Гавань спала. От фонарей судов, отражений их и звезд в небе весь мир казался бархатной пропастью, полной огней вверху и внизу — всюду, куда хватал глаз. У мола, поскрипывая, толкались на зыби черные шлюпки, и черная вода под ними сверкала искрами. У почтового ящика Сигби остановился, опустил письмо и вздохнул.

— Ясно, как пистолет и его бабушка,— проговорил он, нежно целуя ящик,— что Дюк изорвет тебя, сердечное письмецо, в мелкие клочки, но все-таки! Все-таки! Дюк... Не забывай, кто ты!

V

Вечером в воскресенье, после утомительного, бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, избравшего на этот раз тему о нестяжательстве, капитан Дюк сидел у себя, погруженный то в благочестивые, то в греховные размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное вчерашним неудачным уроком пахания, когда, как казалось ему, даже лошадь укоризненно посматривала на неловкого капитана, взявшегося не за свое дело,— улеглось не вполне, заставляя говорить самому себе горькие вещи.

«Плуг,— размышлял капитан,— плуг... Ведь не мудрость же особенная какая в нем... но зачем лошадь приседает?» Говоря так, он не помнил, что круто нажимал лемех, отчего даже *три* лошади не

могли бы двинуть его с места. Затем он имел еще скверную морскую привычку всегда тянуть на себя и по рассеянности проделывал это довольно часто, заставляя кобылу танцевать взад и вперед. Поле, вспаханное до конца таким способом, напоминало бы поверхность луны. Кроме этой весьма крупной для огромного самолюбия Дюка неприятности, сегодня он резко поспорил с школьным учителем Клоски. Клоски прочел в газете о гибели гигантского парохода «Корнелиус» и, несмотря на насмешливое восклицание Дюка «Ага!», стал утверждать, что будущее в морском деле принадлежит именно этим «плотам», как презрительно называл «Корнелиуса» Дюк, а не первобытным «ветряным мельницам», как определил парусные суда Клоски. Ужаленный, Дюк встал и заявил, что, как бы то ни было, никогда не взял бы он Клоски пассажиром к себе, на борт «Марианны». На это учитель возразил, что он моря не любит и плавать по нему не собирается. Скрепя сердце Дюк спросил: «А любите вы маленькие, грязные лужи?» — и, не дожидаясь ответа, вышел с сильно бьющимся сердцем и тягостным сознанием обиды, нанесенной своему ближнему.

После этих воспоминаний Дюк перешел к обиженной «ветряной мельнице», «Марианне». Пустая, высоко подняв грузовую ватерлинию над синей водой, покачивается она на рейде так тяжко, так жалостно, как живое, вздыхающее всей грудью существо, и в крепких реях ее посвистывает ненужный ветер.

— Ах,— сказал капитан,— что же это я растравляю себя? Надо выйти, пройтись! — Прикрутив лампу, он открыл дверь и нырнул в глухую, лающую собаками тьму. Постояв немного посреди спящей улицы, капитан завернул вправо и, поравнявшись с окном Варнавы, увидел, что оно, распахнутое настежь, горит полным внутренним светом. «Читает или пишет»,— подумал Дюк, Заглядывая в глубину помещения, но, к изумлению своему, заметил, что Варнава производит некую странную манипуляцию. Стоя перед столом, на котором, подогреваемый спиртовкой, бурлил, кипя, чайник, брат Варнава осторожно проводил по клубам пара небольшим запечатанным конвертом, время от времени пробуя поддеть заклейку столовым ножом.

Как ни был наивен Дюк во многих вещах, однако же занятие Варнавы являлось весьма прозрачным. «Вот как,— оторопев, прошептал капитан, приседая под окном до высоты шеи,— проверку почты производишь, так, что ли?» На миг стало грустно ему видеть от уважаемой личности неблаговидный поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он подождать, что будет делать Варнава дальше. «Может быть,— размышлял, затаив дыхание, Дюк,— он не расклеивает, а заклеивает». Тут произошло нечто, опровергнувшее эту надежду. Варнава, водя письмом над горячим паром кастрюльки, уронил пакет в воду, но, пытаясь схватить его на лету, опрокинул спиртовку вместе с посудой. Гремя, полетело все на пол; сверкнул, шипя, залитый водой синий огонь и потух. Отчаянно всплеснув руками, Варнава, проворно выхватив из лужи мокрое письмо, затем, решив, что адресату возвращать его в таком виде все равно странно, поспешно разорвал конверт, бегло просмотрел текст и, сунув листок на подоконник, почти к самому носу быстро нагнувшего голову капитана, побежал в коридор за тряпкой.

— Ну да,— сказал капитан, краснея как мальчик,— украл письмо брат Варнава! — Осторожно выглянув, увидел он, что в комнате никого нет, и отчасти из любопытства, а более из любви ко всему таинственному нагнулся к лежавшему перед ним листку, рассуждая весьма резонно, что письмо, потерпевшее столько манипуляций, стоит прочесть. И вот, сжав кулаки, прочел он, что, высунув от усердия язык, писал Сигби.

Он прочел, повернулся спиной к окну и медленно, на цыпочках, словно проходя мимо спящих, пошел от окна в сторону огородов. Было так темно, что капитан не видел собственных ног, но он знал, что его щеки, шея и нос пунцовее мака. Несомненное шпионство Варнавы мало интересовало его. И Варнава, и Голубые Братья, и учитель Клоски, и неумение пахать — все было слизано в этот момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не он. Остальные могут говорить что угодно. Но Бильдер, которому двадцать лет назад на палубе «Веги», где тот

служил капитаном, смотрел он в глаза преданно и трусливо, как юный щенок смотрит в опытные глаза матери; Бильдер, каждое указание которого он принимал к сердцу ближе, чем поцелуй невесты; Бильдер, знающий, что он, Дюк, два раза терпел крушение, сходя на шлюпку последним,— *этот* Бильдер заочно, а не в глаза, высмеял его на потеху всей гавани. Да! Дюк стиснул руками голову и опустился на землю, к изгороди. Прямая душа его не подозревала ни умысла, ни интриги. Правда, Кассет очень опасен, и не многие, ради сокращения пути, рискуют идти им, дабы не огибать Вард; но он, Дюк, разве из трусости избегал «Безумный пролив»? Менее всего так. Осторожность никогда не мешает, да и нужды прямой не было; но если пошло на то...

— Постой, постой, Дюк, не горячись,— сказал капитан, чувствуя, что потеет от скорби.— Кассет. Слева гора, маяк, у выхода буруны и левее плоская, отмеченная на всех картах мель; фарватер южнее, и форма его напоминает гитару; в перехвате поперек две линии рифов; отлив на девять футов, после него можно стоять на камнях по щиколотку. Сильное косое течение относит на мель, значит, выходя из-за Варда, забирать против течения к берегу и между рифами — так...— Капитан описал в темноте пальцем латинское «S».— Затем у выхода вдоль бурунов на норд-норд-ост и у маяка на полкабельтова к берегу — чик и готово.

«Разумеется,— горестно продолжал размышлять Дюк,— все смотрят теперь на меня, как на отпетого. Я для них мертв. А о мертвом можно болтать что угодно и кому угодно. Даже Варнава знает теперь — негодный шпион! — на какую мелкую монету разменивают капитана Дюка». Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести, твердившей ему, что совершено за несколько минут множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал в сомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым, напоминающим ветреную зыбь, почерком Сигби любовный, нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан выпрямился во весь рост, отчаянно махнул рукой, прощаясь с праведной жизнью, и, далеко

швырнув форменный цилиндр Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, сыном которой был.

— Боже, прости Дюка! — бормотал старый ребенок, сморкаясь в фуляровый платок.— Пропасть, конечно, мне суждено, и ничего с этим уже не поделаешь. Если б не Кассет — честное слово, я продал бы «Марианну» за полцены. Весьма досадно. Пойду к моим ребятишкам — пропадать, так уж вместе.

Встав и уже петушась, как в ясный день на палубе после восьмичасовой склянки, когда горло кричит само собой, невинно и беспредметно, выражая этим полноту жизни, Дюк перелез изгородь, промаршировал по огурцам и капусте и, одолев второй, более высокий забор, ударился по дороге к Зурбагану, жадно дыша всей грудью,— прямой дорогой, как выразился он немного спустя сам, в ад.

VI

Стихи о «птичке, ходящей весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», смело можно отнести к семи матросам «Марианны», которые на восходе солнца, после бессонной ночи, расположились на юте, с изрядно помятыми лицами, предаваясь каждый занятию, более отвечающему его наклонностям. Легкомысленный Бенц, перегнувшись за борт, лукаво беседовал с остановившейся на моле хорошенькой прачкой; Сигби, проклиная жизнь, гремел на кухне кастрюлями, швыряя в сердцах ложки и ножи; Фук меланхолично чинил рваную шапку, старательно мусоля не только нитку, но и ушко огромной иглы, попасть в которое представлялось ему, однако же, делом весьма почетным и славным; а Мануэль, Крисс, Тромке и боцман Бангок, сидя на задраенном трюме, играли попарно в шестьдесят шесть.

Внезапно, сильно как под слоном, заскрипели сходни, и на палубу под низкими лучами солнца вползла тень, а за ней, с измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая трезвыми, как стекло, ногами, вырос и остановился у штирборта капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, крякнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень

улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как случайная складка паруса в полном ветре.

Бенц прянул от борта с быстротой спущенного курка. Девушка, стоявшая внизу, раскрыла от изумления маленький, детский рот при виде столь загадочного исчезновения кавалера. Сигби, обернувшись на раскрытую дверь кухни, пролил суп, сдернул шапку, надел ее и опять сдернул. Фук с испуга сразу судорожно попал ниткой в ушко, но тут же забыл о своем подвиге и вскочил. Игроки замерли на ногах. А «Марианна» покачивалась, и в стройных снастях ее гудел *нужный* ветер.

Капитан молчал, молчали матросы. Дюк стоял на своем месте, и вот медленно, как бы не веря глазам, команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не было»,— думал Дюк, стараясь определить себе линию поведения. Спокойно поочередно встретился он глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной готовностью смотрели на своего капитана деликатные, понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине глаз их искрилось человеческое тепло.

— Что ты думаешь о ветре, Бангок? — сказал Дюк.

— Хороший ветер, господин капитан, дай бог всякого здоровья такому ветру; зюйд-ост на две недели.

— Бенц, принеси-ка... из *своей* каюты *мою* белую шапку.

Бенц, струсив, исчез.

— Поднять якорь! — закричал капитан, чувствуя себя дома.— Вы, пьяницы, неряхи, бездельники! Почему шлюпка спущена? Поднять немедленно! Закрепить ванты! Убрать сходни! Ставь паруса! «Марианна» пойдет без груза в Алан и вернется — слышите вы, трусы? — с полным грузом через Кассет.

Он успокоился и прибавил:

— Я вам покажу Бильдера!

1915

ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциаций. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени — в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное является в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, этаким смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями.

Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка»,— говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием.

Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как, спустя недолгое время, я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений.

Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформенности ее электризующих прикосновений,— тот, конечно, не сморгнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии — особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая, в силу условий века, явлением заурядным. Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное — некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются, по преимуществу, меж близкими или много думающими друг о друге людьми. Примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы, раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы это признать) агенты *малоисследованные* — расстояние исчезает.

И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчелы в улье слышат гул роя, но это — вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-

единственной, непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекли стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы. Я встретил ее в Кассете, ее родине, в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал о ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть явилась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом, уже негодным и узким — любовью, нет; радостное, жадное внимание — вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот, в красном аду сознания, блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил, не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

— А я — Гуктас! — громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки.

Я видел, что этот человек хочет ссоры, и знал — почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

— Теперь я вас накажу.— Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами.— Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его за мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

— Ну,— сказал он,— так как?

— Да так!

— Где и когда?

— По прибытии в Херам.

— Я буду вас караулить,— заявил Гуктас.

— Караульте, я ни при чем.— И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое, ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом, как безупречный артист. Я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

— Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать. «Не понимаю,— сказал я,— почему «случилось»? и «что»?» Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени в воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук,— но думал: «Нет, не в последний»,— и простота этого утешения закрывала будущее.

— Завтра утром мы будем в Хераме,— сказала перед сном Визи,— а я, не знаю почему, в тревоге; все кажется мне неверным и шатким.— Она рассмеялась.— Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

— Я не хочу жизнерадостной, простой девушки,— сказал я,— поэтому ты усни. Скоро я лягу, как только придумаю заглавие статье о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но — о благодетельная сила вековой аллегории! — смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде: скелетом, танцующим с длинной косой в руках и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок — в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекле, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку: «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу»,— поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом, пассажиров быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы.

Утро явилось в тот день отменно красивым. Стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдали, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени,

палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты. Пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навеки.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший, однако, жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные *точки зрения*,— из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда, не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный, безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...» — но не почувствовал возмущения.

Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я, в уровень с глазом, дорогой, тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» — крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову. Из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких пока что соображений о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе — я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на коленях, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжко и, может быть, долго болен. «Да, долго»,— подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

— Прелестно! — сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники — эти палачи счастья — не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах, разумеется, означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности,— наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась обеспокоить мою особу — больную, подстреленную, жалкую. Я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способность Ильи-пророка

вызывать гром, как очень короткий, нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал: «Визи, ты видишь, что я здоров»,— и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные, горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

— Милый Галь, ложись,— просила она, слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати.— Теперь я вижу, что ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, нисколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представил себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

— У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый спасенный друг! Я тоже хочу спать.

— Ах, так!..— сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но, в общем, непривычно довольный. Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. «Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее вообще женщины, то все обстоит благополучно и правильно». Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: «Я — снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшиеся мне на глаза: стенной кален-

дарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесповоротно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

— Чудесная, милая Визи! — сказал я.— Я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного,— как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество»,— скажете вы. О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Переполненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подымется во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам — очень небольшой город, и я быстро обошел его весь по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного. Я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинках блестели груды скользких голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, а развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих маслом, бифштексах,— я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса: не будь Гуктаса — не было бы дуэли; не будь дуэли — я не пролежал бы месяц в беспамятстве. Месяц болезни дал отдохнуть душе.

Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что в силу поражения мозга *моя* мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее — прикосновение, еще слабее — вкус кушанья или напитка. Вспомнить *настроение, мысль* было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным, быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция Маленького Херама»,— прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека. Один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких, приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Остальные беспрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

— Ничего, ничего, милейший! Как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью!

— Какая честь! — воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться.

Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

— Я не буду мешать вам? — сказал редактор вопросительным тоном.— Я тоже уйду.

— Прекрасно,— согласился я.— Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!..— осклабившись, повторил он и скрылся.

Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не

испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными — некими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я видел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени посматривал в окно, и у меня получилось следующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие, чистые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов — свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке; он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку.

Г. Марк»

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

— Вот и все,—сказал я.— «Снег». Довольны ли вы такой штукой?

— Очень оригинально,— заявил он унылым голосом, читая написанное.— Здесь есть *нечто*.

— Прекрасно! — сказал я.— Тогда заплатите мне столько-то.

Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

— Мне хотелось бы,— тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемым, далеко ушедшим за очки, глазами,— взять у вас статью на политическую

или военную тему. Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

— Конечно, он падает,— вежливо согласился я.— Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

— Очень нужно,— жалобно процедил он сквозь зубы.

— А я не могу! — Я припомнил, что такое «политическая статья», но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти.— Прощайте,— сказал я,— прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции, и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покатил домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно, радостно улыбаясь, сказала:

— Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

— Как же не устал? — сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а ее делало если не чужой, то *трудной*,— непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей.

Я уже не видел ее души,— надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня редкой игрой судьбы необъяснимые прикосновения духа, явственные даже в молчании. Нечто от прошлого, однако, силилось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

— Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

— *«Тележки»*. Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался — так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи; без стона, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиной ко мне, к окну.

Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил:

— Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но, вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

— Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжко страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой... и описал подробно: толстенький, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердишься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно, женщина эта держала меня в странном злостном недоумении.

— Лунный житель — сказка,— внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: «Визи думает, что я себя плохо чувствую».— Эх, Визи,— сказал я,— мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статейку, деньги получил! Вот деньги!

— О чем статью и куда?

Я сказал куда и прибавил: «О снеге».

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю, как раньше,— серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела. Подымая глава, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от

которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее присутствию.

Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгновение коснулись его и только затем, чтобы сделать более нерушимым силой контраста то непередаваемое довольство, в какое погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически дымящимися кушаньями, в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмели солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел, *каким* светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

— Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

— Ах, так? — сказал я.— Но я не хочу лекарства.

— А для меня?

— Чего там! Я ведь здоров!— Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся неодолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать.— Я пойду,— сказал я.— До свиданья пока, Визи!

— О нет! —решительно сказала она, беря меня за руку.— Тем более что ты так *непривычно* желаешь этого.

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое сопротивление поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких, пустых взглядов, какими говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся: мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое — лицо, как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по-видимому, я перенес *представление о своем воображенном лице* на отражение в зеркале, видя *не то, что есть*. Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба,

шрам,— этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох. На углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби вздохи, стоны, рыдания. Лица его я не видел. Наконец, он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: «Боже мой! Боже мой!» Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова.

Мне стало не по себе. Я чувствовал, что еще вздох, еще мгновение — и мое благостное равновесие духа перейдет в пронзительный, нервный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» — машинально повторял я, этот маленький инцидент оставил скверный осадок — тень раздражения или тревоги. Не совсем спокойно чувствовал я себя. Меж тем темнота сплотнилась полной силой глухой, зимней ночи. Прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к блистающим площадям центра.

Один фасад, слабо озаренный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его. Меня поразило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли по белому фону простенков к балконам и окнам первого этажа. Сеть черных кривых линий зловеще обсасывала фасад, словно тысячи трещин.

Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый, бледный под изгибом черных волос женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря, как сказано, не-

верному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался попеременно прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне-ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным блеском невидимого огня, и я при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах увидел голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью; черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то проворно перебираемое руками шитье.

Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснившей сердце до боли, что я, с глазами, полными слез, машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий мертвенно мрачный занавес должен был распахнуться широким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии... Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошел и выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проще, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренно веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными черными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный, как облезлая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику.

— Вино-то...— сказал он так льстиво, словно поцеловал руку,— вино какое пьете? Дорогое винцо, хорошее, хе-хе-хе! Старичку бы дать! — И он протянул руку.

— Пейте,— сказал я, наливая ему стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью, не иначе как из

уважения ко мне, *барину*.— Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

— Я, должен вам сказать, питаюсь услугами,— сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато.— Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остропикантным делам. Понимаете?

— Все понимаю,— сказал я, пьянея и наваливаясь на стол.— Служите мне.

— А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем, с желтыми отворотами, платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

— Пригласите вашу даму пересесть к нам.

— Дама замечательная! Первый сорт! — радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал: — Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных, с маленькими кистями, рук, груди и пухлых висков разило чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь, время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было.

Я охмелел. Грязный горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепие жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд, более чем многообещающий. Старик уже встал, застегивая и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая, как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колени и, тихо

прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь — горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам, вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей, мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина, в маленьком мягком кресле, с книгой в руках, и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи, внимательно, без улыбки смотря на меня, сказала тихо:

— Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас. Он просил разрешить ему это. Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

— Доктора — ученые люди,— пробормотал я,— а мне, Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренние! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется — и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

— Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни.

— Вот глупости! — сказал я.— Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень, вероятно!.. Боже мой! Неужели ты, Визи, *завидуешь* мне?

— Галь, что ты? — испуганно воскликнула Визи.— Зачем это?

— Нет,— продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость,— когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает,

Да пусть бы все так изменились, как я! Хоть и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная,— что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

— Объясни,— спокойно сказала Визи,— может быть, я тоже пойму. *Что* просто и — в чем?

— Да все. Все, что видишь, такое и есть.— Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему, убедительный: — Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

— Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь — в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

— Очень плохо,— решительно сказал я.— Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор положительно невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милый,— рассеянно сказала она.— Завтра ты будешь работать?

— Бу-ду,— нерешительно сказал я,— хотя, знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — медленно повторила Визи.

Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами. Визи поторопилась улыбнуться — как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три, десять: причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию *«тоска»*, что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная — торжественная или бравурная, веселая или грустная,— безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу — истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрываемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были *наши* разговоры и встречи — именно *встречи,* так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше безысходного тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и *надрыва.* Он предлагал вниманию факты в безусловном — так сказать, арифметическом — их значении: «Раз, два... четыре... одиннадцать — случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, против ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений,

как хитрый медик, замаскированно медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и собеседованием на религиозные темы. Я слушал его внимательно, промолчав на все это, и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

— От чего хочешь ты меня лечить?

— Я хочу только, чтобы ты не скучал,— глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.

— Ты, ты не скучай, Визи,— сказал я,— а мне скучно быть не может, слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну, и просто — я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

— Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого — знаешь? — хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

— Мне странно слышать это,— сказал я,— быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не докончил. Я хотел добавить: «...нравилась тебе» — и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.

— Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз,— трусливо сказал я,— меня расстраивают эти разговоры.

Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу: она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

— Уходи, если хочешь,— печально сказала Визи,— я лягу спать.

— Вот именно, я хотел прогуляться,— заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью.— Но я скоро вернусь.

— Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, *сытóго* вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с *сытой* душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высящуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, то есть о незамысловатых и маловажных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактире «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Господину Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным

любопытством *зрителя,* как если бы присутствовал при чтении письма человеком, посторонним мне, другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом. Преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменился, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня,— не могу! Я подробно написала обо всем издателю «Метеора», он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю! Прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи»

— Визи,— повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка *подчеркивает* письмо, делая трактир и его посетителей *своими*, отдельными от меня и письма. Я стал одинок и как бы, не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там,— тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, внутренно отвергалось мной в силу того, что я не мог предста-

вить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко-горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина. Глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

— Барыня дома? — спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

— Они уехали,— тихо сказала женщина.— Уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

— Нет,— сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи.

Она представилась мне едущей в вагоне, в пароходной каюте, в карете — удаляющейся от меня по прямой линии. Она сидела,— я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаясь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи,— неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сургуча, несколько разрозненных запонок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанных шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год.

Я развязал пачку, повинуясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь, и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, *атмосферы сознания,* характера настроений, облекающих работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением,— все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и так далее — трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную «Ценность страдания», статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочитанному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой «душой нараспашку» лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания; не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу, и с неожиданной, внутренно толкнувшей отчетливостью вспомнил! — так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и, конечно, никак уже не выразимого словами, *приниженного* экстаза.

Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайне полон ею и своим *сжатым* волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо — и сердцем, а не механически. Мне не сиделось, я прошелся по кабинету. В углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени *моей* статьей, с заголовком «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка». Я *никогда* не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я *ничего* не писал.

Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» — делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка»,— снова прочел я... и стало мне в невольных, неудержимых, тяжких слезах спасительно резкой скорби ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаясь овладеть положением. «Я *никогда* больше не увижу ее»,— сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью, вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка,— механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже под бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгоряча еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи, и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на не оконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвение было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках,— во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намека на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! — с меньшими, чем у смертельного больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя, *как прежде*: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от *сна.* Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения, увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв *такое* решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую, унизительнейшую из пыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этого города, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес, я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз» — тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку,— он был для меня живым *третьим*, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было,— бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул на прибитое к стене расписание: «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун»,— в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня. Нас разделяло часов двенадцать пути — срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня. Все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну с облегчением, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их во множестве оттенков и положений, и, мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил. Так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скользящим вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против воли, совершенно измученный событиями прошлой ночи, за-

снул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи: «Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников...»

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

— Это ты, Визи?

— Я, милый,— устало произнесла она.

— О Визи...— начал я было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах.— Я ведь опять тот,— выговорил я наконец с чрезвычайным усилием,— тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

— Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

— Хорошо,— сказал я, холодея от ее слов,— но выслушай меня раньше. Только это!

— Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время

непохожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду — до конца дней.

1915

СТО ВЕРСТ ПО РЕКЕ

I

Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло после продолжительного бездождья часто загромождалось мелями.

По мере того как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе или, сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.

В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати — двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное, печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.

Занятая одной мыслью, одной целью — скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: «Муху» не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться — сказать трудно, даже подумав.

Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась

в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.

Он шел бы так очень долго — день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.

Нок остановился, подумав:

«Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».

— Здравствуй, старикан! — сказал он.— Много ли рыбы поймал?

Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.

— Это вы здесь откуда? — развязно спросил он.— Какое явление!

— Простая штука,— пояснил Нок.— Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.

Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.

— Мне какое дело,— заявил он, раскачивая ногами лодку.— Рыбы не купите ли?

— Рыбы... нет, не хочу.— Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь.— Вот что, послушайка: продай лодку!

— Я их не сам делаю,— прищурившись, возразил старик.— Мне другую лодку взять негде... К чему же вам эта посудина?

— Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.

Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая: «И все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно...» Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.

«А вот назначу столько, что заскрипишь,— думал старик.— Если богат, заплатит. Назад я, видимо, от-

правлюсь пешком, а о моей второй лодке тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги — штука приятная».

— Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть,— сказал рыболов.

— Хорошо, беру. Получай деньги.

«Я дурак,— подумал старик.— Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший... «Пятьдесят?» — «Пятьдесят!» — он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало».

— Я, того, раздумал,— нахально сказал он.— Мне так невыгодно... Вот сто рублей — дело другого рода.

У Нока было всего семьдесят — восемьдесят рублей.

— Мошенник! — сказал молодой человек.— Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.

— Ну, если вы еще с дерзостями,— никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!

Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.

Решившись наконец высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой — раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.

Нок сказал:

— Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.

Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.

«Да, женщина,— бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь.— Чему удивляться? Ведь это их миссия — становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».

Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.

— Очень прошу вас,— прошептал Нок с оттенком приказания,— не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.

— Извините,— потерявшись, тихо заговорила Гелли.— Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю, с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.

— Вы очень самонадеянны...— начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза,— если вам кажется...

— Ни любопытство, ни грубость не обязательны,— глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.

Нок остыл.

— Простите, прошу вас,— шепнул он, соображая, что может лишиться лодки,— подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.

Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите», по ее простодушному мнению, все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.

Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.

— Хорошо,— сказал Нок.— Вы можете ехать со мной. В таком разе,— он слегка покраснел,— доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.

— Уверяю вас, я не думала об этом,— возразила девушка послушным, едва слышным шепотом,— вот деньги, а вещи...

— Не берите их.

— Как же быть с ними?

— Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.

— Но плед...

— Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова — слышите? — ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны — прощайте!

— О, нет, благодарю, благодарю вас... Я скоро!

Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.

Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:

— Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?

— Тут же,— сказал Нок, выходя к лодке.— Получай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.

Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умиленно проговорил:

— Ну, и один же стаканчик водки был старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки да еще с больными ногами, да еще...

Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.

— Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами,— сказал он,— пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.

Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул

сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.

— Так вот пряменько идти мне?

— Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.

— А вы,— старик подмигнул,— шутки свои шутить приметесь?

— Да.

— И великолепно. А я вот чирикну водочки, да и домой.

«Убирайся же»,— подумал Нок.

Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.

— Садитесь же, садитесь,— торопил Нок.— Вам руль, мне весла. Умеете?

— Да.

Они уселись.

«Романично! — съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку.— Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатры,— прибавил он,— и вообще о сердце следовало бы забыть всем».

Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухая, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным, одиноким звуком речной ночи.

II

Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не бы-

ло желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:

— Как вас зовут?

— Гелли Сод.

— Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?

— Очень хорошо.

— Держите, Гелли, все время саженях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу... Хех!

Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь путаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным,— лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо... Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более что Нок, закурив, сказал:

— Мое имя — Трумвик.— Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: — Да, Трумвик, так меня зовут: Трумвик.

Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:

— Трубка, вика [1].

— Долго ли мы проедем? — спросила Гелли.— Меня заставляет торопиться болезнь отца...— Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание.— Я говорю вообще, приблизительно...

— Так как я тоже тороплюсь,— значительно сказал Нок,— то знайте, что в моих интересах увидеть

[1] Гороховое растение.— *Примеч. автора.*

Зурбаган не позднее, как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.

— Благодарю вас.— Она, боязливо рассмеявшись, сообщила: — У меня есть несколько бутербродов и немного сыру... так как достать негде, вы...

— Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.

«Все они материалистки,— подумал Нок.— Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности, река, ее течение — символ вечности... и — что еще?»

Но он забыл — что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-возвышенным, Нок принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.

Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель — все. Ее деятельной душе требовалось, хотя бы мысленно, делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:

— Закусим. Оставьте руль.— Он выпустил весла.— Мои сардинки еще не высохли... так что берите.

— Нет, благодарю, вы сами.

Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась

кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.

— Ночь, кажется, не будет очень холодной,— сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка. Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».

— Пароход теперь остался отсюда далеко.

Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.

— Час ночи,— сказал он, подставив к спичке часы.— Вы, если хотите, спите.

— Но как же руль?

— Я умею управлять веслами,— настоятельно заговорил Нок,— а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы,— с раздражением прибавил он,— чтобы вы ме́ня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.

— Вы... очень добры,— нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение.— Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.

Нок, ничего не сказав, сплюнул.

«Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь... Как они умеют окутывать паутиной! «Вы очень добры...» «Благодарю вас», «Не находите ли вы...» Это все инстинкт пола,— решил Нок,— бессознательное к мужчине. Да».

Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке или высадиться верст за пять от города — ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.

— Вы спите? — спросил Нок, вглядываясь в темный оплыв кормы.

Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.

— Ну и довольно о ней,— сказал Нок, бросая спичку.— Когда женщина спит, она не вредит.

Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего — нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренно не сливаться с ними и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.

Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. «Да, да,— говорит бодрый вид доктора,— конечно, вы находитесь здесь по недоразумению, и все вообще обстоит прекрасно...» Однако доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных, так сказать, бесполезно. Они ему не компания.

Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли,— до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.

— Однако пора будить этого будуарного человека,— сказал Нок о Гелли.— Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.

Он направил лодку к песчаному заливчику, лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.

III

— Это вы,— успокаиваясь, сказала она.— Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.

Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной.

Нок сказал:

— Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.

Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась — она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку, и когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.

— Хорошо, что булавка железная,— сказал Нок.— Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.

Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение

нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем — детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий, густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.

Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:

— Какое дивное утро!

Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но против воли сияла бессознательным оживлением.

«Ну, что же,— враждебно подумал он,— не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».

— Извините,— холодно сказал он.— Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.

— Я не кричала,— ответила Гелли, сжавшись.

Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но, опасаясь нового замечания, умолкла совсем.

«Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».

Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.

— Вы напрасно сердитесь, Трумвик,— сказала Гелли,— не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем

месте и в моем положении... Я ухватилась за вас поневоле.

— Это о чем? — рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос.— Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал... И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми... Клюет!

Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.

— Рыба! Большая! — вскричала Гелли.

Нок, гордый удачей, ответил, так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища.

— Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас.— Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухие ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: «фу-у-у! ф-у-у-!» Гелли, упираясь в землю кулачками с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.

— Ну, будет! — сказал Нок.— Принесите рыбу, вон она!

Гелли повиновалась.

Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.

Разделив его прутиком, Нок сказал:

— Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.

— Я знаю это,— задумчиво произнесла девушка.

Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на путницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.

— Вы хотели заснуть,— сказала Гелли,— по-моему, вам это прямо необходимо.

— Я вам мешаю?

— В чем? — раздосадованная его постоянно придирчивым тоном, Гелли сердито пожала плечами.— Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.

— Я ведь не женщина,— торжественно заявил Нок,— меньше сна или больше — для меня безразлично. Если я вам мешаю...

— Я уже сказала, что нет! — вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли.— Это я, должно быть — позвольте вам сказать прямо,— мешаю вам в чем-то... Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!

Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым — и безвозвратно — превосходную позицию сильного, презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку — немедленно; к тому же он хотел наконец высказаться, как хочет этого большинство искренне, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь

дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.

— Может быть,— сказал он, веско посылая слова,— я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы — женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто,— для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла. Да! Женщины — мировое зло!

— Женщины? — несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли.— И вы думаете, что все женщины...

— Решительно все!

— А мужчины?

— Вот чисто женский вопрос! — Нок подложил табаку в трубку и покачал головой.— Что «а мужчины»?.. Мужчины, могу сказать без хвастовства,— начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!

«Разрушительное начало», взбудораженное до глубины сердца, с минуту, изумленно подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.

— Но... Послушайте, Трумвик! — Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты.— Послушайте, это дерзость, но — думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?

— Вы неорганизованная стихия, злое начало.

— Какая стихия?

— Хоть вы, по-видимому, еще девушка,— Гелли побагровела от волнения,— я могу вам сказать,— продолжал, помолчав, Нок,— что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.

— Об этом я говорить не буду,— звонко сказала Гелли,— я не судья в этом.

— Почему?

— Глупо спрашивать.

— Вы отказываетесь продолжать этот разговор?

Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:

— Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о... физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!

— Тогда знайте,— раздраженно заговорил Нок,— что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.

Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно наконец не предаст проклятию любовь. Любовь — по его мнению, вечный обман природы — следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.

— Вы, Гелли,— сказал он,— еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.

Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину — жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.

— У Шекспира есть, правда, леди Макбет,— возразила она,— но есть также Юлия и Офелия...

— Неврастенические самки,— коротко срезал Нок.

Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «Я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад»; теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:

— У меня был приятель. Он безусловно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта

пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той — дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.

— Что же,— вполголоса договорил Нок,— он попал на каторгу.

Наступило внимательное молчание.

— Он и теперь там? — принужденно спросила Гелли.

— Да.

— Вам его жалко, конечно... и мне жалко,— поспешно прибавила она,— но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!

— Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

— Конечно, она.

— А он?

— Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

«Догадалась или не догадалась? Э, черт! — решил он.— Мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно».

— Я засну.— Он встал, потягиваясь и зевая.

— Да, засните,— сказала Гелли,— солнце высоко.

Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне — как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой — он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного

мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.

— Простите, я разбудила вас,— сказала Гелли,— нам пора ехать.

Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый, встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:

— Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.

— Весла тяжелые.

— Ну, что за беда! — Она засмеялась.— Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.

— Как хотите,— ответил Нок.

«Пускай гребет, в самом деле,— подумал он,— голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».

Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки, специально для упора ногам, деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и с каждым взмахом весел тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.

— Ага! Гелли! — сказал он.— Возвращайтесь на свое место, довольно!

Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но, и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.

— Ну, что? — с внезапной жалостью спросил Нок.

— Нет, ничего,— через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: — Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы... Только ручки у них толстые,— наивно прибавила она.

Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.

Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:

— Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо: лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.

IV

Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.

— Мы вымокнем,— сказал он,— с чем примиритесь заранее — некуда скрыться. Вы боитесь?

— Нет, но неприятно останавливаться.

— Ужасно неприятно.

Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку, за обрывом, лису, нюхавшую воздух; острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.

Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец, скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.

Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающем землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.

— Гелли! — закричал Нок.— Мы все равно больше не смокнем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.

Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огром-

ный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.

— Гелли! — сказал Нок.— Окно, жилье, люди! Вот-вот! Смотрите!

Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:

— Окно, люди! Да, я вижу теперь. О Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!

Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:

— Мы пойдем, только, ради бога, слушайтесь меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.

Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание — скорее попасть в сухое, крытое место.

— Да, да,— поспешно сказала девушка,— но, пожалуйста, Трумвик, идем!..

Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора хижины.

Нок потряс дверь.

— Кто стучит? — воскликнул голос за дверью.

— Застигнутые грозой,— сказал Нок,— они просят временно укрыть их.

— Что за дьявол! — с выражением изумления, даже пораженности, откликнулся голос.— Медор, иди-ка сюда, эй ты, лохматый лентяй!

Послышался хриплый глухой лай.

Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:

— Сколько вас?

— Двое.

— Кто же вы, наконец?

— Мужчина и женщина.

— Откуда здесь женщина, любезнейший?

— Скучно объясняться через дверь,— заявил Нок,— пустите, мы устали и смокли.

Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:

— Я вас пущу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двуствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.

Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка, в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.

V

Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которых она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока — сорока пяти, человек этот, с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин, и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под окнами с не-

большим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.

— Так вот, дорогие гости,— сказал несколько нараспев и в нос неизвестный,— садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.

Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.

— Давайте знакомиться,— добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол.— Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок — а, барышня?

Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.

Он сказал:

— Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.

— Разве берут деньги в таком положении? — обиженно возразил охотник.— Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте — я всегда рад услужить, чем могу.

Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масленая лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.

— Ах, я дурак,— сказал он,— молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!

— Кстати,— он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор,— вверху тоже дожди?

— Мы едем снизу,— сказал Нок,— в Зурбагане отличная погода... Как вас зовут?

— Гутан.

— Милая,— нежно обратился Нок к девушке,— что, если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?

Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.

Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив наконец опасное колебание, тихо сказала:

— Делай как знаешь.

Гроза стихла.

Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.

— Конечно, я на вашей стороне,— сочувственно сказал он,— семейный деспотизм — штука ужасная. Только как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки...

— Что же, беда не велика,— спокойно сказал Нок,— все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились — и просмотрели деревню.

— Поедем,— сказала Гелли, вставая.— Дождя нет.

Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.

— Ты волнуешься и торопишься,— медленно произнес он,— не беспокойся: все устроится. Садись.

Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.

Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:

— Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой...

Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофе, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.

— ...другой,— продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка,— бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.

— Да? — весело сказала Гелли.— Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег... Как называется эта желтая птичка?

— Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.

Нок рассмеялся.

— Гелли трудно напугать, милый Гутан! — вскричал он.— Что касается меня, я совершенный фаталист во всем.

— Вы, может быть, правы,— согласился охотник.— Советую вам посмотреть лодку — вода прибыла, лодку может умчать разливом.

— Да, правильно.— Нок встал.— Гелли,— громко и нежно сказал он,— я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.

Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая, до конца, как мог, с опасной судьбой.

Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:

— Это певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и...

Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:

— Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?

Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки,— так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле — ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.

— Мне кажется, да, знаю,— холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь.— Объясните ваш странный вопрос.

Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.

— Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.

Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось ко второму каторжнику, Гелли прочла:

«...и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».

Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало — и окончательно — самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.

Вздохнув, она возобновила игру.

— Боже мой! Какой ужас!

— Да,— с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины.— Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.

— Я очень обязана вам,— сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы.— Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?

— Помогите задержать его,— сказал Гутан,— и, клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но я уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться...— Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли.— Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.

Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.

— Хорошо, согласна! — твердо произнесла она.— Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?

— Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, одного меня он, конечно, не побоится. У него револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе,— Гутан угрожающе понизил голос,— я осрамлю вас на весь город.

— Хорошо,— едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась, как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны.— Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.

— Улыбайтесь же! Улыбайтесь! — вдруг крикнул Гутан.— Вы побелели! Он идет, слышите?!

Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумье, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.

— Нок,— громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: — Защищайтесь! — это я хотела сказать.

Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.

Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай; выстрел; второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу;

в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.

— Гелли! — тихо позвал Нок.

— Я здесь.

— Пойдемте.— Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю, разбитую губу.

— Вы... убили?

— Собаку.

— А тот?

— Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это... Самому разжимать рот...

— О, бросьте это!— брезгливо сказала Гелли.

Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу — противно.

Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.

Несколькими ударами весел Нок вывел лодку па середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны наконец от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему,— особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.

— Ради бога, не плачьте, Гелли! — сказал, сильно страдая, Нок.— Я виноват, я один.

Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:

— Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, или вы не понимаете этого? Ве-

роятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.

— Да, но я теперь только узнал вас,— с грустной прямолинейностью сообщил Нок.— Моя сказка о священнике и браке не помогла. Он знал, кто я. А помогла бы... Как и что сказал вам, Гутан, Гелли?

Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.

«Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу,— подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока.— Вот и присмирел».

И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.

— Что вы? — испуганно спросил Нок.

— Ничего; это — нервное.

— Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас.— Помолчав, он решительно спросил: — Так вы догадались?

— Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем?! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь, почему-то снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «Его приятель — он сам»; плохим другом были вы себе, Нок! И право, за эти две ночи я постарела не на один год.

— Вы поддержали меня,— сказал Нок,— хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.

— А другие?

— Другие? Вот...

Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча в парке при подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное — историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал,

что она совершенна, как произведение гения,— так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.

Но он-то был для своей избранницы всего пятой по счету прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее — немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Темеза — отчасти искренне, отчасти из подражания героиням уголовных романов — стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стоила в ее глазах безвыездного житья за границей.

Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него — к новой любви — Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.

— Что вы намерены делать? — спросила Гелли.— Вам хочется разыскать ее?

— Зачем?

Она молчала.

Нок сказал:

— Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.

— Какой сон!

«Однако я ведь ничего не могу для него сделать,— огорченно думала Гелли.— Может быть, в городе... но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае я выпрошу у отца денег».

Она успокоилась.

— Нок,— равнодушно сказала девушка,— вы зайдете со мной к нам?

— Нет,— твердо сказал он,— и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.

Но — мысленно — он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.

Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза — звук

этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.

Нок высадил Гелли.

— Ну вот,— угрюмо сказал он,— вы через час дома... Все.

Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.

— Так мы расстаемся, Нок? — сердечно спросила Гелли.— Слушайте,— она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку.— Это мой адрес. В крайнем случае — запомните это. Поверьте этому — я помогу вам.

Она подала руку.

— Прощайте, Гелли,— сказал Нок,— и... простите меня.

Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.

Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14—16».

— Так,— сказал он, разрывая бумажку,— ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что... о, господи!.. люблю!..

VI

Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглаше-

нию, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было само по себе защитой и утешением — не против внешнего, но того внутреннего, самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.

Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока — пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство — еще в нормальном сравнительно состоянии — он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.

Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженях в десяти от перрона, и нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении — окажись здесь десятки вагонов — Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки — так болела спина,— он выбрался в конце концов на пустое, в широком расхождении рельс, место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей, будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой, на полке, лежал завернутый в тряпку хлеб рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.

Действительно, кругом никого не было; ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул наконец осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спо-

койно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева — песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.

Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:

— Зачем вы ходите здесь?

Нок отшатнулся.

— Я...— сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная внизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.

— Стой, стой! — оглушительно крикнул человек с фонарем.

Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.

Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направления — куда бы оно ни вело,— кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замокшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок толкнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий — в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте — то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная

палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.

Бежать в точном смысле этого слова не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград — стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед, опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью — пока — было отдалиться, как можно недостижимее, от преследователей. Однако через пятнадцать — двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть, сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.

«Гелли теперь дома,— подумал он,— да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад... Впрочем, я разорвал его...»

Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, не виноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому — и дом, и улица, и номер квартиры,— от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь во-

ля его была ни при чем; им распорядилась без принуждения его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.

Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им как случайные последствия треволнений,— усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.

— Я не должен спать,— сказал Нок,— если засну, то завтра, совсем обессилевшего, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.

Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» — и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания — тишины и шорохов леса — фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные, и средние, покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.

— Ты, старина, не смолкай,— сказал он,— мне говорить не с кем и — помилуй бог — идти не к кому...

Но стих и этот гудок.

Нок машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу «ззинь!», дереву — «туп!», камню — «кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и сквозь дремотную возбужденность жара понял, что близок к городу.

Потому, что нащупывать вокруг было более нечего— ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев,

он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему,— он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора — вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.

Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.

— Еще папирос,— прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.

Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:

— Не обращайте, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.

Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думал о преимуществах пишущей машины Ундервуд перед такой же Ремингтон, пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым, каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади «Светлый шар», он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.

«Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями»,—

сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на «дядю», а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.

Здесь на Нока бросился человек.

Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».

— Стой! — и крикнул, и сказал он.

Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он — вне себя,— содрогнувшись в тоске и ужасе.

За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось — он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.

— Гелли, милая Гелли! — сказал он, падая к ее ногам.— Я... весь; все тут!

Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза — с выражением защиты и жалости.

— Анна! — сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне,— запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно сейчас же перенесем его черным ходом, через сад к доктору. Потом позвони дяде.

Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.

— Мы не слыхали, бежал кто по лестнице или нет,— мягко сказала Гелли.

И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи:

— Не вы ли спрятали каторжника?

С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

1916

СОЗДАНИЕ АСПЕРА

I

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом необычайном.

— Друг мой,— заговорил Гаккер,— высшее назначение человека — творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения. Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим возни больше, чем с цветной фотографией.

Тщательная отделка мелких частей, пригонка их, чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необходимость следить за тем, чтобы он поступал сообразно своему положению, отнимают немало времени.

— Нет, нет,— продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость,— я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решился доверить вам метод, посредством которого достиг известных результатов.

Земля скупо создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль внести в роскошное разнообразие природы еще более разнообразия путем создания новых животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо[1] или орхидеи увековечивает имя счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне,— не путем скрещивания, это путь природы,— а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бесконечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными униками: теперь же они — предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков, из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья, голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия учеными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время, определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и «разбойника Аспера», относительно кото-

[1] Светящийся жук.— *Примеч. автора.*

рого в стране не существует двух мнений: это — гроза округа.

Являлось бесцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впечатление — совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и проложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д. позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объяснила, что желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу X., обвиненного в государственной измене. Слуга, ходивший с докладом, вернулся, но дама скрылась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посетительница приходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и инспектору полиции и везде скрылась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К., любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого; другие, с пеной у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской полицией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных, обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью — морганатическая супруга принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таинственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и предательство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

Три года в четырех городах появлялась она, скрываясь от назначенных ею самой свиданий по разным, но всегда крупным делам, имеющим мировое значение. Никто не видел ее лица иначе, как на портрете,

помещенном ею вместе с собственноручным письмом в «Парижском глашатае». Вот этот портрет.

Рассказ Гаккера взволновал меня, я начал верить ему; было здесь нечто, похожее на эхо в овраге, когда повторенный звук указывает глубину обрыва; эхом человеческого могущества звучал рассказ Гаккера.

Он подал мне фотографию; удачнее выбрать лицо, выражающее тайну, было бы трудно: с полузакрытыми, прямо смотрящими глазами под высоким и гордым лбом белело оно твердым овалом, и сжатые губы, казалось, только что покинул отнятый от них палец.

— Марианна Чен — символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле.

— Сотворение поэта Теклина, переводчиком которого я состоял до его смерти,— более трудное дело. Как вы знаете, это писатель из народа, а художественные требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность.

В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше. Затем, после нескольких внушительных фельетонов и критических статей о себе Теклин исчез, изредка сообщая, что он в Индии, или Бухаре, или Австралии, с быстротой молнии перекатываясь из одного конца света в другой. Теклин продолжал писать строго идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла. Я стал переводить его на всевозможные языки и, могу вас уверить, достиг тоже известности, как недурной переводчик.

Теклин умер недавно от желтой лихорадки в Палестро. Даже разбогатев, поэт обходился без прислуги, был вегетарианцем и любил физический труд.

— Вы шутите! — вскричал я.— Но ведь это немыслимо!

— Почему же? — Гаккер искренне удивился.— Разве я не могу сочинить плохие стихи?

Он замолчал.

II

— Это хорошее было произведение — Теклин,— сказал, выходя из задумчивости, Гаккер.— Я тщательно сработал его. Но перехожу к тому, кто мне интереснее всех, к Асперу; не распространяясь о технике, я оставлял этот вопрос открытым. В настоящем примере вы увидите черновик, будни художника.

Аспер — тип идеализированного разбойника: романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы. Как это ни странно, но, ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой. Потребность необычайного — может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин — все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава. Это освежает нервы, и я создал легендарного Аспера. Порывшись в трущобах, где лица заросли волосами и пропиты голоса, я остановился на беглом, весьма опасном каторжнике. Не стоило мне больших трудов выгнать его за океан с помощью денег; он был хорошо известен полиции, его арест был мне невыгоден. Я воспользовался его именем — «Аспер»,— взял чужую мышеловку, но посадил в нее свою мышь. В нашем округе вооруженные грабежи — обычное явление, и я умело распорядился ими, но не всеми, а лишь такими, где преступники обходились без насилия и убийства. Создав Аспера, я создал ему и шайку, после каждого ограбления пострадавший получал коротенькое письменное уведомление: «Аспер благодарит». В то же время наиболее бедные из крестьян получали от меня деньги и таинственные записки: «От Аспера щедрого» или «Свой своему. Аспер». Иногда послания эти становились длиннее; напуганные фермеры читали, например, следующее: «Я скоро приду. За Аспера — помощник его, скрывающий имя». Случалось, что на фермеров этих действительно нападали, но в случае поимки грабителей они, естественно, протестова-

ли против принадлежности своей к шайке Аспера, и это еще больше удостоверяло прекрасную дисциплину неуловимого и, что признавали уже все, отважного бандита.

Дерзость и наглость Аспера обратили на себя особо пристальное внимание. Сам он, как говорили, появлялся весьма редко, и мнения относительно его наружности расходились. Воображение пострадавших помогало мне сильно. Изредка я оживлял впечатления; например, завидя одиноко едущего по дороге крестьянина, надевал маску и молча проходил мимо него; известная рисовка положением заставляла беднягу рассказывать всем о встрече не с кем иным, как с Аспером. Устроив близ железнодорожной станции потухший костер, я бросил около него на траву две полумаски, несколько пустых патронов и нож; это обсуждалось серьезно, как спугнутый ночлег бандита.

Благодеяния его становились все чаще и разнообразнее. Я посылал деньги бедным невестам, вдовам, умирающим с голоду рабочим, игрушки больным детям и т. п. Популярность Аспера укреплялась с каждым месяцем, полиция же выбивалась из сил, отыскивая злодея. Целые деревни подозревали друг друга в укрывательстве Аспера, но невозможно было уследить ходы и выходы этого замечательного человека. Однажды, зная, что поселку Гаррах по доносу фантазера угрожают надзор и обыск, я послал от имени Аспера письмо в газету «Заря»; Аспер удостоверял клятвенно, что Гаррах враждебен ему.

Около этого времени Аспер влюбился.

Молодая дама Р. поселилась недалеко от Зурбагана в вилле своей сестры. Во время лесной прогулки к ногам ее упал камень, завернутый в лист бумаги. Подняв упавшее, Р. с испугом и удивлением прочла следующие строки: «Власть моя велика, но ваша власть больше. Я тайно и давно люблю вас. Не беспокойтесь; отверженный и преследуемый, я, произнося ваше имя, становлюсь иным. Аспер». Дама поспешила домой. Семейный совет решил, что это глупая шутка кого-либо из соседей, и успокоил взволнованную красавицу. Наутро под окном ее нашли целый сад роз; весь цветник, от клумб до подоконников, был завален гигантскими букетами, а в дереве стены торчал, удерживая записку,

кинжал синей стали с рукояткой из перламутра. На записке стояло «От Аспера».

Р. немедленно уехала в другую провинцию, унося на спине взгляды знакомых дам, не лишенные зависти.

Неуловимость волнует больше, чем преступление. Несколько раз полиция устраивала засады в горных проходах, на берегах рек, в бродах, пещерах и везде, где только можно было предположить тайные лазейки Аспера. Но сверхъестественная неуловимость бандита, лишая полицию даже жалкого утешения в виде стычки или погони, понемногу охладила рвение администрации; вяло, без воодушевления, как хронически больной, потерявший надежду на излечение, принимала она меры канцелярского свойства — отписку и переписку. Тогда, болея за Аспера, я послал донос с указанием места его постоянного пребывания, выстроив заранее в глухом лесу небольшой дом. По следу этому отправились конница и пехота.

Ранним утром, в то время как преследователи приближались к хижине Аспера, в зеленой чаще раздались выстрелы. Разбойники стреляли из-за кустов. То были патроны без пуль, укрепленные мною в различных местах леса и снабженные великолепно скрытыми электрическими проводами; конные полицейские, проехав по единственной в этом месте тропе, не подозревали, что копыта их лошадей давили зарытую доску, нажимавшую, в свою очередь, кнопку. Все это стоило мне больших трудов. Полицейские, бросившись на выстрелы, никого не нашли; разбойники скрылись. В очаге хижины тлели угли, остатки пищи лежали на оловянных тарелках, ножи и вилки, кувшины с вином — все говорило о спешном бегстве. В ящиках под кроватью, на стенах и в небольшом тайнике было обнаружено несколько париков, фальшивых бород, пистолетов и огнестрельных припасов; на полу валялись черепаховый веер, пояс и шелковый женский платок; это сочли вещами любовницы Аспера.

Игра тянулась шесть лет. В окрестностях поют много песен, сложенных молодежью в честь Аспера. Но Аспер, как я убедился, должен быть пойман. В последнее время полиция наводнила округ до такой степени, что разбои прекратились совсем. Уже год, как об

Аспере ничего не слышно, и существование его многими оспаривается.

Я должен спасти его, то есть убить. Завтра я это сделаю...

Гаккер расстегнул рукав сорочки и показал мне татуировку. Рисунок изображал букву «А», череп и летучую мышь.

— Я копировал с руки настоящего Аспера,— сказал Гаккер,— полиция примет рисунок к сведению.

— Я понял. Вы умрете?

— Да.

— Но ведь жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

— У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим не уверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить.

Он встал, мы пожали друг другу руки. Я знал, что эту ночь не усну, и шел медленно. Аспер как разбойник продолжал существовать для меня, несмотря на рассказ Гаккера. Я посмотрел в сторону гор и ясно почувствовал, что бандит там; прячась, караулит он большую дорогу, взводя курки, и неодолимая уверенность в этом была сильнее рассудка.

«Около одиннадцати часов вечера у скалы Вула, где пропасть, убит легендарный Аспер. Остановив почтовую карету, разбойник, взводя курок штуцера, поскользнулся, упал; этим воспользовался почтальон и прострелил ему голову. Раненый Аспер бросился в кусты, к обрыву, но не удержался и полетел вниз, на острые камни, усеявшие дно четырехсотфутовой пропасти. Обезображенный труп был опознан по татуировке на левой руке и стилету, на лезвии которого стояло имя разбойника. Подробности в специальном выпуске».

Так прочел я в вечерней газете, кипы которой разносились охрипшими газетчиками. «Смерть Аспера!» — кричали они. Я положил эту газету в особый ящик редкостей и печальных воспоминаний. Каждый может видеть ее, если угодно.

1917

КОРАБЛИ В ЛИССЕ

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение — значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелькает мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, начали мы, есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она, в молниеносно возникших кристаллах, застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной

громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя — состоит во взаимном отталкивании.

II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному — в примере — человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город этот определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючая подушка» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торже-

ствующая «Унеси горе», после десятилетней борьбы, воцарилась у самой гавани, погубив три местные харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.

III

В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность, капитан Роберт Эстамп, капитан Ренιор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю»,— благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны — вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования,— почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Ренιор, с длинными черными волосами и глазами навыкате,

напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон; там — шумели, там — пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя *Битт-Бой*. Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

— Вот с Битт-Боем,— вскричал Дюк,— я не убоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит бог, братцы капитаны,— продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом,— после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

— Капер снова показался третьего дня,— вставил Эстамп.

— Не понимаю, чего он ищет в этих водах,— сказал Чинчар,— однако боязно подымать якоря.

— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.

— Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара — он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

— Я знаю, чего ищет разбойник! — заявил Дюк.— Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода, «Фелицата»? Говорят, что нагружена она золотом.

— Судно мне незнакомо,— сказал Рениор.— Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые

любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.

— Какой-нибудь молокосос,— пробурчал Эстамп.— Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте,— вдруг разгорячился он, обращаясь к окну,— может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

— Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»...

— Или «Марианну»...— перебил Дюк.— Что, если она взорвется?! — Он побледнел даже и выпил двойную порцию.— Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

— Вы надоели мне со своей «Марианной»,— крикнул Рениор,— до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!

— А ваш «Президент» утопнет!

— Что-о?

— Капитаны, не ссорьтесь,— сказал Эстамп.

— Я тебя знаю! — закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю.— Поди сюда, угости старичишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда — «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа — спаслись в Лисс от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

— Так я говорю, что хочу Битт-Боя,— заговорил охмелевший Дюк.— Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Мала-

стию. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «боже мой»[1] и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса... Ах, чики, чики, сорвало бакены»... Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али — турок, бывший бепповский боцман,— сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но... каково же счастье Битт-Боя! В Кассете их швыряло на рифы... Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушайка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

— Битт-Бой... я упросил бы его к себе,— заметил Эстамп.— Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

— Я вам расскажу про Битт-Боя,— начал Чинчар.— Дело это...

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье.

IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к сто-

[1] Нечто убийственное. Чистый спирт, настоянный на кайенском перце, с небольшим количеством меда.— *Примеч. автора.*

лу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным, открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук... Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений: винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битт-Бой был общим любимцем.

— Ты, барабанщик фортуны! — сказал Дюк.— Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

— О капере? — спросил Битт-Бой.— Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменьями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз... ялик и я высветились, как муха на блюдечке. Там — камни, тени, мох, трещины,— меня не отличили от пустоты, но, не опусти я свой парус... итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и К°»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навылет; я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови.

— Есть, Битт-Бой,— сказал Рениор,— однако смелый вы человек, Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты...

— Нет, «Пустынника»,— заявил Чинчар.— Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

— Почему же не «Арамею?» — спросил сурово Эстамп.— Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда, щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу... Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего, то есть, определенного. Есть тому *одно обстоятельство.*

Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же... И как мне выбирать среди вас? Дюка?.. О нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник,— как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако какой же может быть выбор? Даже представить нельзя этого.

— Жребий! — сказал Эстамп.

— Жребий! Жребий! — закричал стол.

Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговоров; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

— Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?

— Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.

— А ее груз?

— Золото, золото, золото,— забормотал Чинчар,— сладкое золото...

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

— Так говорят.

— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

— На нем аккуратна вахта.

— Никого не принимают на борт.

— Тихо на нем...

— Капитаны! — заговорил Битт-Бой.— Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте *условный* жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками В живом деле что-нибудь живое взглянет на вас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится *одно обстоятельство.*

— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и, вдруг встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк.— Что же, будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой.

— Да. Наступает вечер,— продолжал Битт-Бой,— немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лоцмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в

том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна»; длинный «Президент» с высоким бушпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями,— та «Фелицата», о которой спорили в кабаке, есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли, неслышный ранее, стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне... И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

— Вот,— сказал Битт-Бой,— летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь,— продолжал он, получив согласное одобрение,— теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если... как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядом, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись.

— Птичка божия берет на буксир обоих,— сказал Дюк.— Что ж? Будем вместе плести маты, друг Ренир, так, что ли?

— Погодите! — вскричал Чинчар.— Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

— Хорошо; к которому поплывет,— согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснул глазами.

— Есть! — кратко определил он.— Все видели?

— Да, да, Эстамп,— все!

— Я ухожу,— сказал Битт-Бой,— прощайте пока; меня ждут. Братцы капитаны! Баклан — глупая птица, но, клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или... расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса — смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.

— Битт-Бой! — закричали вслед.

Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.

V

Теперь пора нам объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, в короткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные,— наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других

оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. *Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья.* Есть также выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «*Легкий* человек», «*легкая* рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе *легких* людей — проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. одна есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно, и ничего более; смех, не выражающий отношений к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом — не все ли равно... «Битт-Бой, приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под уда-

рами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет,— у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

— Режи, королева ресниц! — сказал меж поцелуями Битт-Бой.— Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

— Наш, наш, милый мой, мой безраздельно! — сказала девушка.— Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

— Девушка должна много спать и есть,— рассеянно возразил Битт-Бой. Но он тут же стряхнул тяжелое угнетение.— Оба ли глаза я целовал?

— Ни один ты не целовал, скупец!

— Нет, кажется, целовал левый... Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок...— И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидете, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, до света продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-

Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогала ему:

— Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький!

Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

— Вот что,— сказал он изменившимся голосом,— ты, Режи, не перебивай меня.— Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился.— Я спрашивал и ходил везде... нет сомнения... Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями? Режи... ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься. Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве, к тому же, я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись... как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли. Он умолк, разбитый нравственно и физически,— умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

— Битт-Бой...— рыдая, заговорила девушка.— Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь,— продолжала она, разгорячаясь все более,— ты расстроен. Но я успокою тебя... ну же, ну! — Она схватила его голову и прижала к своей груди.— Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе — хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый... Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

— Битт-Бой,— продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного,— ты умница, что молчишь и слушаешь меня.— Она продолжала, приникнув к его плечу: — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы и выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах и друзьях, и при всех, кто придет,— пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту — как ты хотел улизнуть, негодный,— но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет свой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза...

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

— ...И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой там, не знаю... турчанки? Ты сказал — я королева ресниц... Возьми их себе, милый, возьми все, все...

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилия неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше... Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».

VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик.

Вахтенный матрос подошел к борту.

— Есть на бригантине,— сонно ответил он, вглядываясь в темноту.— Кого надо?

— Судя по голосу, это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

— Битт-Бой? В самом деле...— Матрос осветил фонарем шлюпку.— Вот так нагаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

— После поговорим, Рексен. Кто капитан?

— Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это Эскирос, из Колумбии.

— Да, не знаю.— Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости.— Так вы таскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

— О нет, мы погружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он спустил трап.

— А все-таки золото у вас должно быть... как я понимаю это,— пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

— Иное мы задумали, лоцман.

— И ты согласен?

— Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

— Отлично. Спит капитан?

— Нет.

— Ну, веди.

В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.

— Капитан, я — Битт-Бой,— начал лоцман,— может быть, вы слышали обо мне. Я здесь...

Эскирос перебил его:

— Вы? Битт-Бой, приносящий счастье? Люди оборачиваются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток, закурил, насильственно рассмеялся.

— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он.— Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им,— вернее, намерения — толкают иногда к откровенности. Однако́, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

— Ну, что же... поговорим,— начал он.— Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади — известно. К тому же есть у меня — была всегда —большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь *свое* путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще Скалистому Санди, а там — внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда — спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть — временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер,— ведь хорошо так, Битт-Бой?

— Я слушаю вас,— сказал лоцман.

— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми и, один по одному, набрались у меня подходящие. Экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь! Вы сказали, что знали Рексена...

— Я знал его и знаю по «Радиусу»,— удивленно проговорил Битт-Бой,— но я еще не сказал этого. Я... подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.

Наступило молчание.

— Так в добрый же час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом.— Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. «Обстоятельство» совершилось. Прощайте все — вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого несся, распевая, свой ветер: ветер кладбища — у Битт-Боя, ветер движения — у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой взял руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула королева ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий

скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный крик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них, от угольно-черных башен крейсера, падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

— Не там ищешь,— сказал Битт-Бой.— Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки»:

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край —
Южный рай —
Приплывем все равно.

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!

Ты, земля, стала твердью пустой;
Рана в сердце... Седею... Прости!
Это твой
След такой...
Ну — прощай и пусти!

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!

Южный Крест там сияет вдали,
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня
Корабли,
Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:

— Мальчик, он долго шпынял тебя?

— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.

Эскирос был весел и оживлен.

— Битт-Бой! — сказал он.— Я думал о том, как должны вы быть счастливы сами, если чужая удача — сущие пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже, торчала язвенная, безобразная опухоль.

— Рак...— сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только:

«Южный Крест там сияет вдали...» и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь:

«...Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, приносящий счастье.

1922

СЛОВООХОТЛИВЫЙ ДОМОВОЙ

Я стоял у окна,
насвистывая песенку об Анне...
X. Хорнунг

I

Домовой, страдающий зубной болью,— не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль,— маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной го-

ловой, держался он за обвязанную щеку, стонал жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание.

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть...

— Теперь все равно,— сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе,— все равно тебе никто не поверит, что ты видел меня.

Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть «джеттатуру», я ответил:

— Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.

— И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда,— возразил маленький домовой.— Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь — легче. Значительно легче... ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои,— он плаксиво вздохнул,— мои-то, ну, одним словом, наши, давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.

Оглянись — дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой, занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.

Неподалеку были каменоломни — гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена — пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену — Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот если тебе это нравится, то она была точно такая,— здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне.— Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что па пе-

рекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся,— в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны.

«Анни! — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе.— Я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга,— она бежала к нему, а он приносил ее на руках.

По вечерам он вынимал письма Ральфа —друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который, слышишь протяжный звон.

«Он скоро придет,— говорил Филипп,— он будет у нас, когда его трехмачтовый «Синдбад» попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам».

Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.

Я не слышал, чтобы они ссорились,— а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они,— а я все вижу. «Я хочу спать»,— говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с собой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые

глаза: «Ворона ходит по крыше; ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье,— спи и не ходи босиком».

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет; потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры.

II

— Ну, слушай... Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп с записной книжкой в руке отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом, и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.

Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый, и лиловатый, и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.

Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл — очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было пре-

красно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче; а светлые глаза женщины кротко блестели.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она — медленно — протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову — осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.

Потом они разошлись — и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему:

— Вот Ральф; он пришел.

— Пришел, да.— От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца: — Анни ты уже видел, Ральф. Это она.— Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.— Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.

Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.

— Я вернусь,— сказал Ральф.— Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.

Они условились и расстались. Вот все, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.

— Ральф вернулся?

— Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.

— А те?

— Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой. Потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаров-

ней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять...

— Так и будет,— вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую немытую лапу.— Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые — непроницательны.

1923

ГОЛОС И ГЛАЗ

I

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работой зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он безусловно станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

— Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его

страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком его голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь — стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она — обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

— До свидания пока.

— Пока...— отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутлив, высок и черноволос. У него должны были быть, если будут, черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах.

И ее болезненное, неправильное лицо покрылось нежным румянцем.

— Что будет? — говорила она.— Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!

II

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор, и помощник его, и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида.

— Дэзи! — сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты, как завороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы предстать новорожденному взгляду,— вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал.

— Дело сделано,— сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения.— Смотрите, откройте глаза!

Рабид поднял веко, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь.

— Уберите материю,— сказал он,— она мешает.— И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан; рука его задро-

жала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

III

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто — именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском, волны и с открытым всему лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он, точно, любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

— Кто вы? — вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

— Правда, я как будто новое существо для вас? — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

— Теперь, только теперь,— сказал Рабид,— я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне! Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

1923

ГАТТ, ВИТТ И РЕДОТТ

I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желающих попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго — Витт и третьего — Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и, наконец, Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев,

они подыскали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.

— Итак, у нас ничего нет,— сказал задумчивый, спокойный Редотт,— нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

— Я не желаю подыхать,— возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт,— я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

— Наслаждайся,— насмешливо сказал желчный черноволосый Витт.— Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

— Да, сильным быть хорошо,— отозвался Редотт.— Куда я гожусь? — Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки.— Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

— Я ловил бы слонов, как мышей,— сказал Витт.— Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десяток-другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысячу фунтов. Теперь сосчитайте.

— Двадцать тысяч фунтов,— сказал Гатт.— При такой силишке, о которой вы говорите, я просто плю-

нул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая — пожалуйте, и деньги на бочку.

II

— Так в чем же дело? — раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

— Ваше степенство...— пробормотал, подымаясь, Гатт.— Удостойте присесть.

— Садитесь,— угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

— Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

— Но будет,— сказал индус.— Я прогуливался и услышал ваш разговор.— Он сел.— Так в чем дело? Повторяю,— продолжал Шах-Дуран,— если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

— Вы шутите! — воскликнул Редотт.

— У нас, в Индии, такими вещами не шутят,— сказал индус.

— Арабские сказки,— фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

— Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

— Я не пью «хмельное»,—сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт и Гатт оторопели.— Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

— О! — сказал Витт.

— Ага! —ответил Гатт.

— Да! — произнес Редотт.

Шах-Дуран расстегнул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

— Вот зерна,— сказал он,— эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса I, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копилась она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

— Позвольте спросить вас,— обратился к нему Гатт,— почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

— У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна, если бы оно проросло, получится двести зерен.

— Он не пил виски,— шепнул Гатт Витту как можно тише.— Единожды двести — двести, это я ручаюсь.

— Я не пил виски,— меланхолически подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза.— В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год 40 тысяч зерен. На следующий год 40 тысяч произведут 80 миллионов потомства. На пятый — заметьте, только на пятый год — число зерен возрастет до 102 центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индус взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля.

— Вот,— сказал он,— вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

— Высшая математика! — благоговейно прошептал Гатт.

— Говорить ли о пяти тысячах лет? — сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран.— Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

— Сойду с ума,— подтвердил Витт.

— Или...— вставил Гатт.

Редотт молчал.

— Один золотник весу содержит колос,— продолжал индус.— Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтилиона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

— Но эту *силу*,— ехидно возразил Витт,— вы изволите спокойно подбрасывать на ладони, да еще увеличенную в три раза.

— Да,— сказал Шах-Дуран.— Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, я это вам объяснять не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им,— и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

— Берешь? — сказал Шах-Дуран.

— Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и царапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индус благосклонно улыбнулся.

— Ты осторожен,— сказал он,— и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Нуте,— обратился он к остальным,— что скажете вы?

«Не может быть столько секстилионов из одного семечка»,— легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

— Вот и все,— сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеором и рассыпался яркою пылью.

— Ползерна! — вскричал, видя это, охлажденный Витт.— Ползерна — настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индус вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

— Чтобы растворилось немного,— сказал он и похлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

— Будьте здоровы,— сказал индус, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

III

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила впивается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем огромный пень, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

— С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвертывается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь: затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

— Ты видел? — сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту.— Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. Смотри не ошибись,

— Я буду охотиться на слонов,— сказал Витт.— Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слоном произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. «Это будет получше алмазов»,— сказал он, когда связал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел у костра, благодушествовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по стволу кокосового или мангового дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случалось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И оттого, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей, он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе — носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов — и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груду дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, посматривая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза,— маленькая коралловая змея, упав с дерева, вонзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе врагов. Если враг стреляет в темноте ночью,— какая сила удержит кровь пробитого сердца?

— Что ж, надо работать все-таки,— сказал он себе.— Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро приноровился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

«Вот так силач!» — говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ровно никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

— Никак я не думал,— сказал он насупившемуся Редотту,— что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.

— Идите за мной! — сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

— Вот куча рельс,— сказал Редотт,— смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попятился, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

— В таком случае,— сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки,— надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверхпереверхсилищу?!

— Не знаю,— сказал Редотт.— Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

— Клянусь Бельгией! — сказал устрашенный рабочий.

— Хорошо, я вам верю,— ответил Редотт.

V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к коням. Множество народа бежало уже туда, крича: «Обвал, обвал!» И стало всем ясно, что на большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв был так силен, что обвалились и засыпались все верхние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей, Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуется десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых,— если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое

внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось; он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались, как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

— Чего вы толкаетесь!

— Мистер Витсон,— сказал Редотт старшему инженеру,— есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

— Ступайте и проспитесь, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

— Понюхайте! — Редотт взял штейгера за голову, притянул к себе и дохнул ему прямо в нос.— Пахнет ли водкой?

— Не пахнет,— сказал тот,— но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

— Витсон,— сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру,— слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

— Объясните толком, чего вы хотите.

— Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть, приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу, ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растерянны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный, как смерть, бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и волнения.

— Он сделает,— сказал бельгиец,— он может, верьте ему, клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упи-

рался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренностей. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

— Действительно, он свернул шею горе, клянусь Бельгией!

1924

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ

I

— Итак, она вам отказала обоим? — спросил на прощание хозяин степной гостиницы.— Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист.— Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей все равно... Вообще был ведь разговор этот о женщинах.

— Ты не понимаешь,— сказал Род.— Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушались.

Как сказал Кист: «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть немного жестоко, рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

— Ступайте,— сказала Кэт.— Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып...»

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешение скал — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а *затем* начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но, в общем, казалась, на подходящих для того местах, доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку, с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину — значило

сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

— Будь дерево,— сказал Род,— но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

— Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно,— сказал Род,— только и всего. Представь, что пропасти нет.

— Разумеется,— сказал Кист рассеянно.— Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

— Итак...— начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку:

— Сначала я, а потом ты,— сказал он.— Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

— Готово,— сказал Кист.— Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванётся с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста — и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула

в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Киста скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз. «Отпусти!» — сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому. «Ты свалишься, говорю тебе,— продолжал Род.— Отпусти меня и не забывай, что *именно на тебя посмотрела она особенно»*.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз, затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

— А где Род? — поспешно спросила она, едва подала руку.— Или вы одни, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась»,— подумал вошедший.

— Род...— повторила Кэт.— Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

1925

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

Посвящаю Нине Н. Грин

I

В 1903 году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.

Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливцам. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех — это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.

Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.

Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.

Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая

при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн,— час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.

Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не смогла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».

В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, держась за который и изнемогая, висела она над внезапной пустотой всего и во всем.

Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг — боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый... Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчивых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.

Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.

II

Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как, еще мальчиком, любил прятаться в темный шкап и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.

Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка, говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» — а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройства и тяготы всей остальной ночи, тем более что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел, как был,— во фраке, белом галстуке, с цветком,— в холодный мрачный номер.

Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие — непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»

III

Он видел, что все погибло, погибает и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуясь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь, как перегоревший шлак,— так много он пережил за эти часы.

Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, развернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усумниться, что Эсборн — это и есть он, читающий о себе.

Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар невесте-жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.

Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственно распростертого среди темной ночной дороги.

Он переменил имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил, как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой — теперь Алисой Ренгольд.

IV

Он не мог думать о ней как о чужой, и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни,— не то беспрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.

Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него, противу всех душевных запретов, стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.

По мере того как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время — не более, как мучение. Жизнь перевертывалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.

Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свете комнаты, где увидал подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.

Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.

— Прости! — сказал он, сам ужасаясь этому слову.

— Я рада, что вы живы, Эсборн,— сказала наконец Алиса Ренгольд издалека, голосом, который был мучительно знаком Эсборну.— Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы...— упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: — Все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите... О! мне так тяжело, Август!

— Я уйду,— сказал Эсборн.— Там, в моем дневнике... Я писал каждый день... Может быть, вы поймете...

Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.

1926

ЛЕГЕНДА О ФЕРГЮСОНЕ

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодарному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали, что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь бандитов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки, она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоплен долгими ливнями. Прилив, более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.

В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, братья — агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший службу в Доччере и не торопившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; самостоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Маненгейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим — место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес на горизонте, а за ним — горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как вверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я люблю безумно танцы...» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья Мастакары играли в шестьдесят шесть, сидя в тени пробкового дерева у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи, которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»

Никто не подозревал, что к гостинице приближается алчная и беспокойная личность, заранее рассматривающая пленников Лима как отпетых дураков. Это был Горький Сироп, имя и фамилия которого бесследно пропали.

Сварливый взгляд и длинный, угреватый нос Горького Сиропа увидели первыми братья Мастакары. Горький Сироп дернул за козырек кепи и сказал:

— Джентльмены желают развлечься. Они могут посмотреть местные достопримечательности.

Джон Мастакар сосчитал: «пятьдесят один» и прибавил: «уйдите!» Но Горький Сироп подошел ближе.

— Во-первых,— сказал он,— столб, на котором линчевали трех негров в 1909 году.

У окна показался пьяный джентльмен. Он был-таки пьян и смеялся.

— Во-вторых,— продолжал бродяга,— вывеска, написанная масляными красками над булочной О'Коннэля. Если всмотреться, явственно различаешь среди булок и кренделей фигуру знаменитого полководца Наполеона.

— Ха-ха! — сказал пьяный джентльмен.— Выпей на доллар и увидишь зеленых слонов.

Вышел инженер с дочерью. Рой молчаливо грызла орехи.

Увидев ее, Горький Сироп преобразился.

— В-третьих,— сказал он совсем громко,— на дереве близ мастерских ласточка свила гнездо в туфле приезжей артистки Молли Фленаган, которая бросила ее туда, после того как выпила из этой туфли целую бутылку шампанского.

Раскрылось второе окно, и показался раздраженный бюст самостоятельной девицы средних лет; она твердо сказала:

— Вы должны найти работу, Дачежин! Все должны работать, а не попрошайничать!

С террасы приплелся доктор.

— Нет ли еще чего-нибудь? — спросил он, зевая.

— Едва ли вы назовете «чем-нибудь» скалу в двадцать тысяч пудов, сброшенную Фергюсоном,— с достоинством произнес Горький Сироп,— редкую качающуюся скалу, которую он обрушил на притон бандитов Утлемана! Она в двух милях отсюда. След могучих рук Фергюсона навеки врезался в камень. Можно различить снимок его пальцев.

— Папа, я хочу видеть скалу,— заявила Рой.

— Вы выразили разумное желание, мисс,— сказал Горький Сироп.— Внушительное, незабываемое зрелище!

Инженер не противоречил девушке. Достаточно, что она хотела видеть скалу.

Погода стояла отличная. Уговорили ехать Мастакаров, доктора; пьяный джентльмен пришел сам. Самостоятельная девица резко отошла от окна и больше не показывалась. Хозяин гостиницы доставил поместительный старый автомобиль, куда все и уселись. Горький Сироп, сдвинув колени, чтобы не задеть кого-нибудь и тем не уменьшить свой гонорар, рассказывал, прикладывая руку к груди:

— Фергюсон был таинственная и благородная личность. Ростом семь футов, красивый, как Юпитер, с глазами, обжигавшими каждого, кто приближался к нему. Его голос звучал, как корнет-а-пистон. Его черные усы и такая же борода вились, как шелк. Его лицо было бело, как мрамор. Он жил в лесу, за Таулокской горой. Никто не знал, что он делает. Говорили, что он был несчастен в своей великой любви к дочери одного... гм... инженера. Каждый день он ходил на Таулокскую гору и слегка поддавал скалу, утоляя свое неутешное сердце ее неистовыми раскачиваниями. И вот он узнал, что Утлеман собирается ограбить и убить переселенцев. Тогда герой взошел на гору и ночью, когда бандиты спали в своем лесном доме, послал им вечную печать молчания. Сто двадцать человек было убито, а пятеро сошли с ума, и их поймали.

Доктор лениво улыбался, инженер хохотал, братья Мастакары слушали и соображали, не предложить ли целлулоидной фирме изобразить на гребенках Фергюсона, толкающего скалу.

Наконец приехали к месту, где лежала скала, и вылезли из автомобиля. Пройдя немного пешком, путешественники увидели огромный камень неправильной ромбической формы, лежавший среди деревьев, как серый дом без окон и дверей.

— Не поздоровится от такой штуки,— сказал Джон Мастакар.

— Покажите отпечатки пальцев! — потребовала Рой у Горького Сиропа.

— Они с нижней стороны, так что их не видать,— заявил прохвост.

Доктор лениво созерцал скалу, соображая, сколько ампутаций мог бы он произвести у ста двадцати человек. В это время подошел маленький спокойный старик, очень дряхлый, но с проницательными живыми глазами.

— Толкуете о Фергюсоне? — обратился он к компании.— Что-то вам Сироп врет. Дело в том, что я знал этого Фергюсона, но, хоть убей, это делу не помогает. Даже обидно. Я его знал, когда мне было одиннадцать лет. Впрочем, если...

— Отчего же, скажите...— протянул пьяный джентльмен.

— Я стоял у лавки,— продолжал старик,— а он вышел оттуда и сказал: «Хочешь пряник?» Я сказал: «Да». Взял пряник и съел. Ну, он жил около болота, этот ваш Фергюсон, и промышлял тем, что хлопотал в суде о земельных участках. Разбойники, действительно, были, только дальше отсюда, у Котомахи. Фергюсон был заика, болезненный человек, малого роста. Я ему полюбился, и он брал меня с собой на прогулки: бывало, мы с ним качали эту скалу. Но ее качнуть не труднее было, чем большую лодку. Вот он мне и говорит как-то: «Надоела дурацкая скала!» В ту же ночь ее штормом ударило об откос — верхним краем, должно быть,— основание сползло, и устойчивое равновесие нарушилось. Она, конечно, упала и раздавила двух коров, которые там внизу задумались,— знаете, эти, которые... стоят и жуют. Теперь мне даже смешно, как все это переиначили.

Через два дня Рой Маненгейм приехала в Доччер и стала рассказывать своей тете о путешествии, грызя, как всегда, орехи. Ее задумчивые большие глаза рассматривали белое ядро ореха, когда она вдруг прибавила ко всему прочему:

— Еще видели мы с отцом скалу, весом тридцать тысяч пудов, которую Фергюсон бросил на гнездо бандитов. С ужасной высоты!

Подумав, она вытащила из кармана новую горсть орехов и, трудясь над ними, докончила:

— Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый. Так нам сказал какой-то старик. Он говорил — как пел. Все боялись его, а он — никого. И когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, потому что был очень прост и доступен... Он любил одну девушку, и они женились.

Еще подумав, Рой прибавила:

— Они женились раньше, чем он сбросил скалу.

1927

АКВАРЕЛЬ

Клиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял: каким образом получить крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы,

представлял, что это серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку; она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападок, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал:

— Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

— А будь я проклята, если дам,— спокойно ответила Бетси.— Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

— Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

— Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, втянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «Не уйдешь, подлец!» — Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: *«Весенняя выставка акварелистов»* — и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из виду его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежруа; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем... явственно признал Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

— Не ушел? — сказала Бетси ледяным тоном.— Пойдем-ка поговорим.

— Только не здесь,— взмолился Клиссон, устремляясь вперед.— Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была? Не видел тебя в трамвае...

— В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

— Я не на привязи у тебя,— огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку; подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло, и Клиссон начал останавливаться возле картин — хотя ему было не до картин,— выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» — или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

— Замолчи! — сказал Клиссон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

— Похоже, что это наш дом,— произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

— Сбрендил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов,— все это не оставляло сомнений. Глаза

и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

— За крыльцом помойное ведро; его не видно! — радостно заявила Бетси.

— Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела,— с горечью отозвался Клиссон.

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

— Я тогда же подумала,— сказала она,— идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить,— ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

— Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год»,— мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

— А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен,— сказала Бетси,— потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей... только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

— Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном — Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

— Будь уверен, что тебя водят за нос.

— Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

1928

ГНЕВ ОТЦА

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа,— но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия — стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников — сделаться преступником или бродягой — и, окончив выговор, сказала:

— Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я обязательно безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

— Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что

такое гнев,— значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

— Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

— Все спокойно на Ориноко,— сказал он.— Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

— Не знаете ли вы, что такое гнев? — мрачно спросил он.— Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.

— Гнев?

— Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага.— Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился на-

прямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добродушно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и, крадучись, проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

— Скажи, Том,— начал дядя,— достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот

не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

— Я думал,— сказал Том.— Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

— Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака,— сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета.— Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст циний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже, рядом с пожилым черноусым человеком, сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были

здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

— Да, я выехал днем раньше,— говорил Беринг,— чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

— Я приведу его,— сказал Карл.

— Я пришел сам,— сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытаращил глаза.

— Но ведь ты был наказан! Был заперт!

— Сегодня он амнистирован,— заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? — подумал Том.— Едва ли. Не похоже».

— Она будет твоя мать,— сказал Беринг.— Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

— Мы будем с тобой играть,— шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков — среди них два с откинутыми к стене крышками — непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал

настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелясь, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

— Я убил твой гнев! — кричал он в восторге и потрясении.— Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

— Успокойся, Том,— сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына.— Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

1928

КОМЕНДАНТ ПОРТА

I

Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая ста-

рательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.

Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.

— Том Ластон! — воскликнул Комендант веселым, дрожащим голосом.— Я так и знал, что опять увижу вас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там... далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?

— Кутгей! — крикнул Ластон в пространство.— Пришел Комендант. Что?

— Гони в шею! — прилетел твердый ответ.

Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.

— Ну вот, сразу в шею! — отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел, как складной.— Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.

— Чего шутить! — сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий.— Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.

— Я только что с «Абрагам Репп»,— залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара.— Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?

— Кури,— сказал Кутгей, суя старику черную сигарету.— Держи крепче своей лапкой — уронишь.

— Ах, вот и господин капитан! — вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр.— Добрый вечер, господин капитан! Добрый

вечер, бесконечно уважаемая и... гм... Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье... в наилучшем состоянии?

— А... это вы, Тильс! — сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом.— Еще держитесь... Очень хорошо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.

— Так это вы и есть? — улыбнулась молодая женщина.— «Комендант порта»? Я о вас слышала.

— Меня все узнают! — старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой — доллар и тросточку.— Моряки — великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу... как... как... как..

Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо проподняв им вслед фуражку, докончил, обращаясь к Ластону:

— Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.

Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был наконец уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовая сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.

Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.

Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигаретку, Комендант правильными, мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.

— Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! — сказал он наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе.— Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.

— Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер,— ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости.— Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм... Я уже был на «Стелле». Тогда там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне... ну да... недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что... Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему... к бравым морякам... к палубе... Но это у меня всегда, и вы знаете...

Тильс, загрустив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.

— Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик,— сказал Бутлер.— Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!

Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно воззрился на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «а». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.

— Еще?

— Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» — хороший пароход, очень хороший,— говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась.— Ее спустили со стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне»,

я видел его вчера в гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что,— говорит Черлей,— у меня счеты неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах,— говорит Ватсон,— да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после... одного дела. Так вот, он сказал: «„Зазубрину" не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол». Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда говорил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол...

— Конечно, Комендант,— сказал Ластон, появляясь в дверях кухни,— ты навел бы у них порядок.

— Естественно,— подтвердил Тильс.— Даже очень. Естественно.

Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона — «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны «Боливия», и тогда повар нашел, что пора выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинялся ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:

— Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.

Тильс съежился и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.

— «Пилигрима» я знаю,— залепетал Тильс жалким голосом.— Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса... ход двенадцать узлов... Естественно.

— Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам,— притворно серьезно сказал повар.

Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.

— Я лучше пойду домой,— сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза.— Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел...

— Вот история! — воскликнул Бутлер.— Уже и пошел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!

— Нет, нет, нет! Я должен, должен идти,— торопился Тильс,— потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.

— А отсюда вы куда? — сказал, входя, молодой матрос Шенк.

— Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой...

— Матушки, чтобы вы не сбились,— отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица — Пегги Скоттер.

— Пегги Скоттер? — шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не труся больше перед толстыми канатами «Рекорда».— Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица, клянусь выстрелом в сердце! Я вам говорю, что знаю ее.

— Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что пришел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврике», где сидят наши, и сообщил. Кому идти?

Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете, вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?

— Правда,— решительно сказал Ластон, двинув ногой.

— Правда,— согласился, помолчав, Бутлер.

— Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост,— учил Шенк.

— Да, тянуть хуже,— поддакнул Бутлер.— Отрезал — и в сторону.

Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.

— Дело в том,— снова заговорил Шенк,— что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант по-мер от чу-мы в Эно». Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться.

— Да. Сразу! — хрипло крикнул Тильс и топнул ножкой.— Смело и мужественно. Сердце чертовой девки — сталь. Настоящее морское копыто! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.

II

Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.

Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.

— Смотрите, Мели, пришел Комендант,— сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде.— Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!

Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно-таинственному лицу...

— Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда...— начал Тильс, но замигал и тихо докончил: — Надеюсь, рейс был хорош... Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?

— Хотите, Комендант? — сказала Пегги, протягивая ему бисквит.— Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

— Благодарю вас,— сказал Тильс,— медленно засовывая бисквит в карман.— Да... Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! — вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.

Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.

Тильс не мог решиться договорить,— за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую, мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засеменил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.

Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и наконец ударила рукой о мраморную доску буфета.

— Дура я, что не остановила его! — проворчала Пегги.— Он чем-то меня встревожил.

— Разве вы не поняли, что Комендант пьяненький? — сказала Мели.— От него пахло, я слышала.

Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда, несколько дней спустя, девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок.

— Вот и я, девочка,— сказал Тильс, появляясь наконец дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной.— Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте,— говорит мне капитан.— Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это... Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались... слезы... крик... Я ушел.

— Вы ничего не сказали Пегги, братец,— отозвалась Ревекка.— Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.

Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел,— он умер оттого, что закашлялся, поперхнувшись супом. Тильс кашлял и задыхался так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег, и через два дня его не стало.

— Чего-то не хватает,— сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера.— Кто теперь расскажет нам разные новости?

Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснорожий.

— Здорово! — загремел он, махая дикого вида шляпой.— Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!

— Кто ты есть? — спросил Бутлер.

— Комендант порта! Тильс сдох, ну... я за него.

Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.

— Прощай! — сказал матрос. — Больше не приходи.

— Странное дело! — возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние. — Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить, воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!

— Нет, нет, — ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон. — Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».

1933

СОДЕРЖАНИЕ